

## «Братья Карамазовы» – совершенное выражение русской идеи в жанре романа

Работа над романом началась в начале апреля 1878 г. и закончилась в начале октября 1880 г. Г. М. Фридлендер указывает, что «многие идеи, характеры, эпизоды романа либо подготовлены предшествующими произведениями писателя, либо возникли в его творческом воображении задолго до начала писания «Братьев Карамазовых», в процессе обдумывания и разработки предшествующих романов и различных неосуществлённых замыслов»<sup>252</sup>. Действительно, идея «восстановления» павшего человека доминировала в сознании Достоевского в период всего последнего пятнадцатилетия его творчества. Так, в середине июня 1880 г., оканчивая работу над «Братьями...», он даёт совет начинающей писательнице Ю. Ф. Абаза о работе над образом главного героя её повести: «Дайте ему страдание духовное, дайте осмысление *своего* греха, как *целого поколения* (курсив наш. – О. С.), приставьте, хоть и схимника, но непременно и женщину – и заставьте его сознательно пойти на страдание за всех предков своих, и за всех и вся, чтоб искупить грех людской» [30, 1; 192]. Подчеркнём, что эта же идея проходит красной нитью многих других писем и большей части публицистики писателя.

Г. М. Фридлендер обращает внимание на предисловие Достоевского к переводу «Собора Парижской Богоматери, где говорится том, что «основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия» есть «мысль христианская и высоконравственная; формула её – восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнѣтом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль – оправдание униженных и всеми отринутых парий общества» [20; 28]. При этом мысль о путях спасения («восстановления») одного человека часто расширялась в творческом сознании писателя до осмысления исторических путей общества, народа, человечества. Достоевский продолжает: «Проследите все европейские литературы нашего века, и вы увидите во всех следы той же идеи, и, может быть, хоть к концу-то века она воплотится наконец вся, целиком, ясно и могущественно, в каком-нибудь таком великом произведении искусства, что выразит стремления и характеристику своего времени так же полно и вековечно, как, например, «Божественная комедия» выразила свою эпоху средневековых католических верований и идеалов» [20; 29]. По мысли Фридлендера, «Братья Карамазовы» и явились таким «произведением искусства»<sup>253</sup>.

Необходимо заметить, что исследуемый нами роман «Братья Карамазовы» представляет собой лишь первую половину задуманного писателем сочинения. В предисловии к роману он пишет: «Роман мой разбился сам собою на два рассказа «при существенном единстве целого»» [14;6], и события в семье Карамазовых составляют лишь «предмет моего первого вступительного романа или лучше сказать его внешнюю сторону» [14; 12]. А «главный роман второй – это деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошёл еще тринадцать лет назад, и есть почти даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя» [14; 6]. К этому времени Достоевский был уже тяжело и неизлечимо болен. В какой-то момент он почувствовал, что его земной путь завершается, и понял, что не успеет осуществить свой замысел. Поэтому он прерывает работу над романом и весной 1880 г. едет в Москву для выступления на торжествах, посвящённых столетию со дня рождения А. С. Пушкина, а после этого выпускает единственный за 1880 год номер «Дневника писателя». В нём и в «Пушкинской

<sup>252</sup> Фридлендер Г. М. Комментарий к Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского в 30 томах. – Л.: Наука, 1976. – Т. 15. – С. 399.

<sup>253</sup> Фридлендер Г. М. Комментарий к Полному собранию сочинений Ф. М. Достоевского в 30 томах... – С. 399.

речи» Достоевский выражает свои «заветные» мысли, составляющие *главную идею* всего его творчества. В начале ноября он оканчивает роман, а 28 января 1881 г. покидает земной мир.

В предисловии «От автора» и во второй главе первой книги первой части Достоевский ясно определяет цель своего труда – представить жизнеописание Алексея Фёдоровича Карамазова. Он замечает: «Жизнеописание-то у меня одно, а романов два» [14; 6]. В первом романе Алексей предстаёт как «деятель, но деятель неопределённый, невыяснившийся» [14; 5], и потому «главный роман второй – это деятельность моего героя уже в наше время, особенно в наш теперешний текущий момент» [14; 6]. По замыслу писателя, *внешнюю идею* («внешнюю сторону») «первого вступительного романа» должно было составить изложение «катастрофы», случившейся в семье Карамазовых [14; 12]. Очевидно, что речь здесь идёт о *внешней идее* и выражаемом ею *основном конфликте*. Действие этого «вступительного» романа происходит, по словам самого автора, «тринадцать лет назад» [14; 6], то есть в 1865–1866 годах. Разрешением основного конфликта должен был стать второй, «главный роман» (*внутренняя идея*. – О. С.), события которого происходят «уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент» [14; 6], то есть в начале 1879 года.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что черновых материалов к роману, ставшему самым объёмным в *великом пятикнижии*, известно очень немного. Е. И. Кийко по этому поводу замечает: «Можно предположить, что утраченные предварительные наброски плана последнего романа по своему характеру с самого начала отличались от рукописных материалов к «Идиоту», «Бесам» и «Подростку». Работу над этими романами Достоевский начинал с обдумывания фабулы. Он выдвигал и отклонял множество версий сюжетного развития, иногда коренным образом отличающихся друг от друга и от развития действия в окончательной редакции»<sup>254</sup>. В случае же с «Братьями...» писатель лишь переносил на бумагу уже целиком сложившийся в его сознании роман, изменяя лишь какие-то незначительные детали формы. Поэтому, продолжает исследователь, «в процессе обдумывания и составления общего плана романа основные его контуры конкретизировались, но резко не менялись»<sup>255</sup>. Сам писатель, высылая редактору «Русского вестника» Н. А. Любимову пятую книгу романа («Pro и contra»), писал: «Дело в том, что теперь для меня кульминационная точка романа. <...> Всё, что будет теперь следовать далее, будет иметь, для каждой книжки, как бы законченный характер. То есть как бы ни был мал или велик отрывок, но он будет заключать в себе нечто целое и законченное» [30, 1; 60].

Это даёт основания предположить, что *идейный синтез* произошёл ещё до начала основной работы над текстом, в котором слились воедино замыслы романов «Атеизм», «Детство», «Житие великого грешника» и идеи, нашедшие своё выражение в публицистике и эпистолярной литературе писателя. Ещё в 1870 г. Достоевский писал А. Н. Майкову: «Это будет мой последний роман. Объёмом в «Войну и мир» <...>. Этот роман будет состоять из пяти больших повестей (листов 15 в каждой...). Повести совершенно отдельны одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно. <...> Общее название романа есть: «Житие великого грешника», но каждая повесть будет носить название отдельно. Главный вопрос, который проведётся во всех частях, – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование Божие» [29, 1; 117].

Именно об этом и идёт речь в упомянутой выше книге «Pro и contra». В ней представлено «изображение крайнего богохульства и зерна идеи разрушения нашего времени в России, в среде оторвавшейся от действительности молодёжи» [30, 1; 63]. «Опровержению богохульства» писатель посвящает следующую книгу – «Русский инок», в которой представлен «чистый, идеальный христианин – дело не отвлечённое, а образно реальное, воз-

<sup>254</sup> Кийко Е. И. Комментарий к Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского в 30 томах. – Л.: Наука, 1976. – Т. 15. – С. 411.

<sup>255</sup> Там же. – С. 412.

можное, воочию предстоящее», и доказывается, что «христианство есть единственное убежище Земли Русской ото всех её зол» [30, 1; 68]. О работе над этой книгой Достоевский сообщает К. П. Победоносцеву: «Я писал эту книгу для *немногих* и считаю кульминационной точкой моей работы» [30, 1; 105]. В следующем письме он замечает, что в этой книге «представляется нечто прямо противоположное выше выраженному мировоззрению (атеизму, «богохульству». – О. С.), – но представляется опять-таки не по пунктам, а, так сказать, в художественной картине» [30, 1; 121]. Так писатель раскрывает содержание *внутренней идеи* первого романа.

Следующей книгой, названной «Алёша» и посвящённой Алексею Карамазову, писатель «перебрасывает мостик» во второй роман. Он пишет Любимову: «Последняя глава <...>, «Кана Галилейская» – самая существенная во всей книге, а может быть, и в романе» [30, 1; 126]. В этой главе идёт речь о вступлении Алексея на поприще сознательного служения Христу: «Пал он на землю слабым юношей, а встал твёрдым на всю жизнь бойцом...» [14; 328]. Об этом его призвании говорится и в сцене, рисующей похороны Илюши и проповедь Алексея, «в которой отчасти отразится смысл всего романа» [30, 1; 151].

При работе над романом писателя очень беспокоило то, что «печатная литературная критика, даже если и хвалила меня (что было редко), говорила обо мне до того легко и поверхностно, что, казалось, совсем не заметила того, что решительно родилось у меня с болью сердца и вылилось правдиво из души» [30, 1; 148]. Между тем «спасает при этом меня лишь всегдашняя надежда, что когда-нибудь пошлёт Бог настолько вдохновения и силы, что я выражусь полнее, одним словом, что выскажу всё, что у меня заключено в сердце и в фантазии» [30, 1; 148]. Свои сомнения Достоевский излагает и в письме К. П. Победоносцеву: «Всегда мучит меня вопрос: как это примут, захотят ли понять суть дела, и не вышло бы скорее дурного, чем хорошего, тем, что я *опубликовал* мои заветные убеждения? Тем более, что всегда принуждён высказывать иные идеи лишь в основной мысли, всегда весьма нуждающейся в большом развитии и доказательности» [30, 1; 209]. И поэтому, завершая роман, он намеревается всё то, что не удалось вполне ясно выразить художественным словом, высказать в публицистике: «Своему делу послужить надо и буду говорить не боязненно» [30, 1; 156], «Я всю жизнь за это работал, не могу теперь бежать с поля битвы» [30, 1; 169]. Не останавливая работу над романом, Достоевский выпускает номер «Дневника писателя», представляющий собой не столько «ответ критикам», сколько «моё *profession de foi*<sup>256</sup> на всё будущее. Здесь уже высказываюсь окончательно и непоколебленно, вещи называю своими именами. <...> То, что написано там – для меня роковое» [30, 1; 204]. Содержание этих идей писатель выразил в письме студентам Московского университета: «Вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной» [30, 1; 23]. Это остро чувствует молодёжь, которая никогда ещё не была «более, как теперь искреннею, более чистою сердцем, более жаждущею истины и правды, более готовою пожертвовать всем, даже жизнью, за правду и за слово правды. Подлинно великая надежда России!». Но главная беда молодёжи в том, что она «отшатнулась *от народа* (это главное и прежде всего) и потом, то есть теперь, и от общества» [30, 1; 22]. К тому же она «живёт мечтательно и отвлечённо, следуя чужим учениям, ничего не хочет знать в России, а стремится учить её сама. А, наконец, теперь *несомненно*, попала в руки какой-то совершенно внешней политической руководящей партии, которой до молодёжи уж ровно никакого нет дела и которая употребляет её, как материал и Панургово стадо, для своих внешних и особенных целей» [30, 1; 22].

Писатель видит выход из этой ситуации в том, что молодёжи необходимо, во-первых, «пойти к народу и остаться с ним, надо прежде всего *разучиться презирать его*... <...>. Во-

<sup>256</sup> исповедание веры (*франц.*).

вторых, надо <...> уверовать и в Бога... [30, 1; 25]. Эти же мысли звучат и за полтора месяца до смерти писателя в его письме А. Ф. Благодравову: «Вы верно заключаете, что причину зла я вижу в безверии, но что отрицающий народность отрицает и веру. Именно у нас это так, ибо у нас вся народность основана на христианстве. Слова: крестьянин, слова: Русь православная – суть коренные наши основы. У нас русский, отрицающий народность (а таких много), есть непременно атеист или равнодушный. Обратное: всякий неверующий и равнодушный решительно не может понять и никогда не поймёт ни русского народа, ни русской народности. Самый важный теперь вопрос: как заставить с этим согласиться нашу интеллигенцию?» [30, 1; 236]. А если она не захочет услышать и понять, то стоит ли сохранять ей верность и по-прежнему оставаться с ней, как со своей «социальной» семьей? «Нет, – говорит Достоевский, – уж я лучше буду с народом; ибо от него только можно ждать чего-нибудь, а не от интеллигенции русской, народ отрицающей и которая даже не интеллигентна. Но возрождается и идёт новая интеллигенция, та хочет быть с народом. А первый признак неразрывного общения с народом есть уважение и любовь к тому, что народ всею целостью своей любит и уважает более и выше всего, что есть в мире, – то есть своего Бога и свою веру. Эта новогрядущая интеллигенция русская, кажется, именно теперь начинает подымать голову. Именно, кажется, теперь она потребовалась к общему делу, и она это начинает и сама сознавать» [30, 1; 236]. Эта идея поисков путей соединения русской интеллигенции с «народной правдой» и стала содержанием *русской идеи* последнего романа *великого пятикнижия*.

Как замечает Г. М. Фридендер, роман был «в глазах самого автора широким эпическим полотном, повествующим не только о двух поколениях семей Карамазовых, но и шире – о прошедшем, настоящем и будущем России. Представители уходящего прошлого, «отцы» – Фёдор Павлович Карамазов, Миусов, штабс-капитан Снегирёв, госпожа Хохлакова и др. – противопоставлены здесь воплощающему «настоящее» России, взятому в различных тенденциях его нравственной и идейной жизни поколению, к которому принадлежат все три брата Карамазовых, Ракитин, Смердяков, Катерина Ивановна, Грушенька, а на смену последним в романе уже поднимается новое, третье поколение – «мальчики» – символ ещё бродящих, не вполне сложившихся будущих сил нации и страны»<sup>257</sup>.

Яркой особенностью романа стало то, что Достоевский впервые выражал свои главные мысли не прибегая к иносказаниям и раскрывая символы, использованные им в предыдущих произведениях. И прежде всего это касается *русской идеи* как важнейшей темы творчества писателя – «темы Западной Европы и России, её прошедшего, настоящего и будущего, символическим выражением которых являются три представленных в романе поколения» [15; 407].

Мысль о том, что персонажи первого круга в той или иной степени символизируют Россию, открыто звучит и на страницах романа. Так, прокурор (выражающий некоторые взгляды самого писателя), выступая на процессе по обвинению Дмитрия Карамазова в убийстве отца, говорит, что традицию художественного изображения *русской идеи* в литературе начал ещё Н. В. Гоголь: «Великий писатель предшествовавшей эпохи, в финале величайшего из произведений своих, олицетворяя всю Россию в виде скачущей к неведомой цели удалой русской тройки, восклицает: «Ах, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал!» – и в гордом восторге прибавляет, что пред скачущей сломя голову тройкой почтительно сторонятся все народы» [15; 125]. Следуя за Гоголем, прокурор (и вместе с ним Достоевский) раскрывает символический смысл происходящего в романе: «В самом деле <...>, что такое это семейство Карамазовых, заслужившее вдруг такую печальную известность по всей даже России? <...> Мне кажется, что в картине этой семейки как бы мелькают некоторые общие основные

<sup>257</sup> Фридендер Г. М. Комментарий к Полному собранию сочинений Ф. М. Достоевского в 30 томах. – Л.: Наука, 1976. – Т. 15. – С. 452.

элементы нашего современного интеллигентного общества – о, не все элементы, да и мелькнуло лишь в микроскопическом виде, «как солнце в малой капле вод», но всё же нечто отразилось, всё же нечто сказалось» [15; 125].

Затем прокурор даёт характеристики каждому члену семейства Карамазовых (включая Смердякова) как типичному представителю какой-либо части «интеллигентного общества». Общей чертой Карамазовых он считает отсутствие некоего объединяющего принципа, закона, что приводит к способности «вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения <...> Две бездны, две бездны, <...>, в один и тот же момент – без того мы несчастны и неудовлетворены, существование наше неполно. Мы широки, широки как вся наша матушка Россия, мы всё вместим и со всем уживёмся!» [15; 129].

Роман включает в себя все значимые идеи и темы, поднимавшиеся в предыдущих романах *великого пятикнижия*, что даёт возможность исследователям фокусировать своё внимание на проблемах, представляющихся им наиболее важными. В ряду известных нам работ по поэтике романа отметим фундаментальное исследование В. Е. Ветловской «Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»» (2007). Особой частью этой работы является ряд важных методологических замечаний, некоторые из которых касаются «полифонической теории» М. М. Бахтина. Ветловская (и вместе с ней В. Н. Захаров, В. К. Кантор, К. А. Степанян и многие современные исследователи) убедительно показывает несостоятельность основных положений концепции Бахтина. Также автор делает ряд наблюдений, имеющих значение для понимания поэтики романного творчества Достоевского: «Философско-публицистическая доминанта романа «Братья Карамазовы» (и всего *великого пятикнижия*. – О. С.) сближает его с философско-публицистическими жанрами. С нехудожественными жанрами такого рода роман роднит мысль, идея как основной материал и повод к высказанному слову и её (мысли) публицистическая тенденциозность; с художественными – основные способы её поэтического выражения»<sup>258</sup>.

Ветловская говорит и об объективной иерархии тем романа: «Совершенно ясно, что не любая тема в художественном произведении выражает сюжет...»<sup>259</sup>. Поэтому «под сюжетной темой (у нас – *внешняя идея*. – О. С.) мы понимаем такую тему, которая организует произведение и выражает действие единое и законченное, обычно развивающееся на протяжении всего рассказа»<sup>260</sup>. При этом «двойное значение сюжетной темы (план конкретный и план общий) заставляет по-новому осмыслить её структуру»<sup>261</sup>. «План конкретный» ограничен «временными и пространственными рамками», а «план общий» связывает сюжет со вневременными смыслами, вечностью.

Ссылаясь на В. В. Розанова, исследователь замечает, «что эпиграф связан с темой прошедшего, настоящего и будущего России (а через неё – и всего человечества)...»<sup>262</sup>. Однако, продолжает Ветловская, хотя «эта мысль и не вызывает возражений <...>, её конкретное воплощение в художественной системе романа полемично в своих истоках»<sup>263</sup>. В дальнейшем исследователь указывает направление преодоления этой «полемичности», когда говорит об особой символике романа Достоевского: «Символ – один из видов иносказания», которое «в художественном произведении <...> создаётся контекстом. Контекст

<sup>258</sup> Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». – СПб: Изд-во «Пушкинский Дом», 2007. – С. 14.

<sup>259</sup> Там же. – С. 173.

<sup>260</sup> Там же. – С. 174.

<sup>261</sup> Там же. – С. 184.

<sup>262</sup> Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»... – С. 249.

<sup>263</sup> Там же. – С. 250.

и указывает на второй, идейный план слова или слов и устанавливает с большей или меньшей чёткостью содержательное значение этого второго плана»<sup>264</sup>, который «выражает сферу отвлечённых понятий, идей, имеющих глубокое, обобщающее значение»<sup>265</sup>. Полагаем, что важнейшим из таких понятий, постоянно предстоящих перед мысленным взором Достоевского, и была *русская идея*. Ветловская утверждает: «То обстоятельство, что Достоевского в его последнем романе волновали не «частности», но судьба России и, может быть, мира в целом, не вызывает никаких сомнений. Герои этого романа представляют собой обобщение, которое, по замыслу автора, должно раскрывать самую суть современной ему русской жизни в её основных чертах и тенденциях»<sup>266</sup>. Считаем это суждение справедливым не только для последнего романа Достоевского, но и для всего *великого пятикнижия*. Исследователь указывает на явную художественную преемственность в символике *русской идеи*: ««Тройка», «быстрая езда», Митя («русский человек», как он сам успел подчеркнуть в разговоре с Самсоновым. – 14, 336) на этой «тройке», которая «летела, «пожирая пространство» (14; 369, 370), напоминают читателю финал «Мёртвых душ» – гоголевское пророчество о будущем России. Гоголевский мотив <...> не случаен. <...> Финал «Мёртвых душ», пророчествующий о новой, ожившей России, и финал Митино го хождения по мытарствам, также кончающийся воскресением «русского человека», одинаково устремлены в будущее. Но если Гоголь не указывает путей к грядущему и светлому обновлению <...>, то Достоевский делает это»<sup>267</sup>. При этом важно понимать, что образ Дмитрия Карамазова символизирует не весь русский народ, а лишь наиболее значимую, по Достоевскому, его часть: ««Непосредственная» интеллигентная Россия, стоящая за Митей, должна рано или поздно отказаться от индивидуальных, корыстных и эгоистических интересов, вобрать в свою душу чужое горе... и обратиться к трудовой жизни, той, которою всегда жил и живёт народ...»<sup>268</sup>. В этом и состоит, по мысли исследователя, *русская идея* в романе: «Осознание евангельской истины, являющейся <...> и истиной народной, затем участие в народной трудовой жизни (в сущности, слияние с народом) пророчествует «непосредственной» России конечная цель Митиных исканий»<sup>269</sup>.

Для выражения *русской идеи* (и вообще своих идей), замечает Ветловская, писатель использует особый приём: «Задача автора в данном случае заключается не столько в прямом утверждении той или иной мысли, сколько в создании таких условий, при которых она не может не прийти в голову читателя...»<sup>270</sup>. И в результате «мысль, которая неизбежно в этих условиях должна, по Достоевскому, у читателя возникнуть», – это мысль о «возможности действительного «воскресения и обновления»: надо только отказаться от того, что несовместимо с лучшим и высшим в человеке (и в народе. – О. С.)»<sup>271</sup>.

Известна мысль Л. П. Гроссмана о том, что «исходным пунктом в романе Достоевского является идея. <...> Пестрота интриги придаёт ходу романа ту силу движения и внешнего интереса, которая здесь особенно необходима ввиду доминирующего над всем рассказом отвлечённого положения»<sup>272</sup>. Однако если это так, то главной задачей исследователя должен стать поиск этой «идеи» и безошибочно точное определение её содержания. Сложность

<sup>264</sup> Там же. – С. 239.

<sup>265</sup> Там же. – С. 239.

<sup>266</sup> Там же.. – С. 185–186.

<sup>267</sup> Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»... – С. 188.

<sup>268</sup> Там же. – С. 192.

<sup>269</sup> Там же. – С. 193.

<sup>270</sup> Там же. – С. 181.

<sup>271</sup> Там же. – С. 188.

<sup>272</sup> Там же. – С. 13.

заключается в том, что таких идей у Достоевского три: идея познания воли Бога по отношению к человеку и к миру; идея ответа человека на волю Бога; идея исторического бытия России как замысла Бога о ней. Первая идея отражает смысл вселенского бытия, вторая – смысл человеческого бытия, третья – смысл бытия русского народа. Ветловская замечает по этому поводу: «Законы жизни и смерти и отдельных людей, и всего человечества – предмет постоянных размышлений Достоевского»<sup>273</sup>.

Следуя наблюдениям исследователя над числом «три» в «Братьях...», скажем, что, подобно тому, как единая природа Божества представлена в троичном единстве неслитно, нераздельно, неразлучно, неизменно<sup>274</sup>, так и триединая идея Достоевского постоянно живёт в художественном пространстве романа. Обращение лишь к одному её «лицу» неизбежно оставляет в стороне множество поэтических фактов, относящихся ко второму и третьему «лицу», а потому их осмысление должно происходить по тому же «халкидонскому» принципу: неразрывно, но неслитно.

\* \* \*

Старшее поколение героев романа представлено Фёдором Павловичем Карамазовым, старцем Зосимой, капитаном Снегирёвым, госпожой Хохлаковой, помещиками Миусовым и Максимовым. Особенностью этого поколения является то, что падение каждого из них уже совершилось. Но восстать к жизни смог лишь один из них, ставший после этого схииеромонахом Зосимой. Это говорит о том, что прошлое не является безусловным злом, которое нужно как можно скорее отбросить и на его месте построить нечто принципиально новое. Достоевский верит, что даже поколение 1840#х годов, отравленное идеями европейского либерализма, способно к обретению смысла своего бытия. Примером тому являются судьбы Зиновия (ставшего Зосимой), его брата Маркела и «таинственного посетителя», нашедших путь ко спасению и счастью. Это ясно обнаруживает цель Достоевского – показать духовные процессы в современном ему поколении, найти и описать тенденции его развития, от которых зависит будущее всей России.

По словам прокурора, **Фёдор Павлович Карамазов** представляет собой тип «несчастливого, разнузданного и развратного старика, <...> «отца семейства», столь печально покончившего своё существование. Родовой дворянин, начавший карьеру бедненьким приживальщиком, чрез нечаянную и неожиданную женитьбу схвативший в приданое небольшой капиталчик, вначале мелкий плут и льстивый шут, с зародышем умственных способностей, довольно, впрочем, неслабых, и прежде всего ростовщик. С годами, то есть с нарастанием капиталчика, он ободряется. Приниженность и заискивание исчезают, остаётся лишь насмешливый и злой циник и сладострастник. Духовная сторона вся похерена, а жажда жизни чрезвычайная. Свелось на то, что кроме сладострастных наслаждений, он ничего в жизни и не видит, так учит и детей своих. Отеческих духовных каких-нибудь обязанностей – никаких. Он над ними смеётся, он воспитывает своих маленьких детей на заднем дворе и рад, что их от него увозят. Забывает об них даже вовсе. Все нравственные правила старика – *après moi le deluge*<sup>275</sup>. Всё, что есть обратного понятию о гражданине, полнейшее, даже враждебное отъединение от общества: «Гори хоть весь свет огнём, было бы одному мне хорошо». И ему хорошо, он вполне доволен, он жаждет прожить так ещё двадцать-тридцать лет... Вспомним, однако, что это отец, и один из современных отцов. <...> Многие из современных отцов лишь не высказываются столь цинически, как этот, ибо лучше воспитаны,

---

<sup>273</sup> Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»... – С. 394.

<sup>274</sup> См. орос IV Вселенского Собора (г. Халкидон, 451 г.).

<sup>275</sup> После меня хоть потоп (*франц.*).

лучше образованны, а в сущности – почти такой же, как и он, философии» [15; 125–126]. При этом единственным «богом» для него являются деньги [15; 132].

Грехопадение Фёдора Павловича происходит в дороманном времени. Автор сообщает лишь о самом тяжком его преступлении – насилии над юродивой Лизаветой Смердящей, ставшем причиной появления на свет Павла Смердякова. Заметим, что насилие над беспомощным человеком, обладающим к тому же специфической религиозной стигмой, порицается особо.

Характеризуя своего героя, Достоевский говорит, что Фёдор Павлович «был далеко не из религиозных людей» [14; 22], однако некоторые рудименты религиозного сознания ему удалось сохранить. Так, однажды он вздумал дать Алексею «своё родительское благословение», но «успел одуматься», осознав, что в пьяном виде делать это неприлично [14; 114]. И только после того, как Алексей защитил его от Дмитрия, он искренне благословляет его и вручает древнюю икону, принадлежавшую некогда матери Алексея [14; 130].

Прощаясь с Иваном, он благословляет и его: «Ну, с Богом, с Богом! <...> Ну, Христос с тобою!» [14; 254]. Более того, в те редкие моменты, когда он утрачивал власть над собой и поддавался первому искреннему движению сердца, старик «вдруг ощущал в себе иной раз <...> духовный страх и нравственное сотрясение, почти <...> физически отзывавшееся в душе его. ««Душа у меня точно в горле трепещется в эти разы»», – говаривал он иногда» [14; 86].

Фёдор Павлович знает, что есть Бог, и верует в Него, но так, как веруют бесы – трепеща от сознания того, что рано или поздно придётся отвечать за всё зло, принесённое в мир (Иак. 2:19). Этот страх – от чувства постоянного присутствия в мире «кого-то неизвестного, но страшного и опасного» [14; 87], некоего всевидящего и всеведующего Суди. Этот страх мешает Фёдору Павловичу жить так, как он хочет – непрерывно удовлетворяя своё сладострастие. Поэтому он хочет освободиться от него и задаёт Ивану и Алексею вопрос, являющийся краеугольным камнем в сюжетах *великого пятикнижия* и *главной идеей* всего творчества Достоевского: «Иван, говори: есть Бог или нет? <...> А бессмертие есть, ну там какое-нибудь, ну хоть маленькое, малюсенькое? <...> Может быть, нечто какое-нибудь есть? Всё же ведь не ничто!» [14; 123]. Иван на все вопросы отца отвечает категорическим «нет», Алексей – столь же категорическим «да». Внутренне Фёдор Павлович признаёт правоту Алексея, но признание бытия Бога неизбежно влечёт идею Суда и воздаяния, и потому ему *удобнее* отрицать бытие Бога, даже зная о нем: «Вероятнее, что прав Иван» [14; 124].

Бог «мучит» Фёдора Павловича, как будет мучить Дмитрия после преступления. И он старается избавиться от этих мук: жертвует значительную сумму на монастырь и пытается помириться с детьми. Он даже предпринимает попытку остановить своё падение: «У нас ведь как? У нас что падает, то уж и лежит. У нас что раз упало, то уж и вовеки лежи. <...> Я встать желаю» [14; 82]. По его просьбе старец Зосима указывает ему необходимые шаги: «Не предавайтесь пьянству и словесному невоздержанию, не предавайтесь сладострастию, а особенно обожанию денег <...>. А главное, самое главное – не лгите. <...> Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе и к другим. Не уважая же никого, перестаёт любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предаётся страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства в пороках своих, а всё от непрерывной лжи и людям и себе самому» [14; 41]. Слова Зосимы указывают на духовную природу лжи: «Дьявол <...> – лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). Но ложь настолько срослась с естеством старика Карамазова, что освободиться от неё своими силами он уже не может: «Дьявол <...> подхватил и нёс Фёдора Павловича на его собственных нервах куда-то всё дальше и дальше в позорную глубину...» [14; 82].



Подобно тем грешникам, которые отвергли призыв Спасителя восстать из ада и идти к Свету, Фёдор Павлович сознательно отказывается от спасения и бессмертия: «По-моему, заснул и не проснулся, и нет ничего, поминайте меня, коли хотите, а не хотите, так и чёрт вас дери» [14; 157–158]. Он решает взять от жизни всё возможное: «Я хочу и ещё лет двадцать на линии мужчины состоять...» [14; 157], и объявляет свой личный бунт: «Я в скверне моей до конца хочу прожить<...>. В скверне-то слаще: все её ругают, а все в ней живут, только все тайком, а я открыто. <...> А в рай <...> я не хочу...» [14; 158].

О том, что это – путь к смерти, Достоевский говорит символическим описанием дома Фёдора Павловича. Внешне он выглядит вполне благополучно и, казалось бы, «мог ещё простоять очень долго» [14; 85], но внутри он уже «довольно ветхий», готовый разрушиться в любой момент. Спасти его может лишь немедленная полная перестройка, но Фёдор Павлович этого делать не хочет, да уже и не может, обрекая себя на гибель. И дом постепенно превращается в гроб – он «окрашен серенькою краской» и покрыт не крышей, а «крышкой» [14; 85]. Эта предопределённость становится очевидна в противопоставлении дома Фёдора Павловича жилищу его слуги Григория. Он живёт во флигеле, который, в отличие от барского дома, «обширен и прочен», а значит, простоит ещё долго. И действительно, слуга переживает своего барина.

Фёдор Павлович – второй человек в романе, после Смердякова, открыто выражающий нелюбовь к России и неприятие её жизненного устройства. Он говорит Ивану: «Россия свинство. Друг мой, если бы ты знал, как я ненавижу Россию... то есть не Россию, а все эти пороки... а пожалуй что и Россию» [14; 122]. При этом главным объектом его ненависти выступает Церковь: «Взять бы всю эту мистику да разом по всей русской земле и упразднить, чтоб окончательно всех дураков обрезать. А серебра-то, золота сколько бы на монетный двор поступило!» [14; 123]. Он уверен, что это совершенно необходимо для того, чтобы «скорей воссияла истина» [14; 123], которая сводится для него к возможности жить, удовлетворяя собственные похоти так, чтобы не мешать другим делать то же самое.

Но Достоевский уверен, что каждый человек до самой смерти сохраняет в своей душе хоть маленькую чёрточку образа Божия. Вот и Фёдор Павлович с умилением вспоминает о своей второй жене, матери Ивана и Алексея, ласково называя её «моя кликушечка» [14; 126], и искренне любит Алексея: «Вот ты говоришь это <...>, а я на тебя не сержусь, а на Ивана, если б он мне это самое сказал, я бы рассердился. С тобой только одним бывали у меня добрые минутки, а то я ведь злой человек» [14; 158]. Необычайная мудрость слышится в ответе Алексея: «Не злой вы человек, а исковерканный», «сердце у вас лучше головы» [14; 158, 124]. Но даже он не в силах спасти отца, который сам отказался от спасения. Так уходит из жизни, замечает Достоевский, прошлое, которое уже «получило свою мзду» [15; 126].

К старшему поколению принадлежит и образ старца **Зосимы**, идейно противостоящий образу старика Карамазова. Как и Карамазов, Зосима некогда преступил закон Божий, но нашёл путь к спасению. Описанию этого пути посвящена шестая книга романа, «Русский инок», состоящая из *житийной* и *учительной* частей. Житийная часть включает в себя три жития: самого Зосимы (до пострига носившего имя «Зиновий»<sup>276</sup>), его старшего брата Маркела и «таинственного посетителя». Каждое житие является вариантом раскрытия единой темы – грехопадения и последующего воскресения.

В преамбуле книги автор указывает, что она составлена Алексеем Карамазовым. Это значит, что Зосима смог передать Алексею свой бесценный духовный опыт. Книга начинается житием Маркела<sup>277</sup>. Происходя из обычной русской традиционно-благочестивой семьи,

<sup>276</sup> От др.-греч. *Ζηνοβιος* – «богоугодно живущий».

<sup>277</sup> От лат. *Маркелл* (Маркел) – «воинственный».

он подвергся заражению «прогрессивными» идеями, вследствие чего стал богохульником и отказался соблюдать церковный устав. К этому времени он уже был слаб здоровьем и скоро заболел чахоткой. Испытывая тяжёлые телесные страдания, Маркел, по просьбе матери, стал говеть на последней неделе Великого поста, «но недолго походил он в церковь, слёг, так что исповедали и причастили его уже дома» [14; 261].

Прошло несколько времени, и «изменился он весь душевно – такая дивная началась в нём вдруг перемена!» [14; 261]. Каждый день его стал наполнен радостью от умиления и покаяния пред Господом: «Он вставал со сна, каждый день всё больше и больше умиляясь и радуясь и весь трепеща любовью» [14; 262]. Изменился и его характер, прежде «вспыльчивый и раздражительный» [14; 260]. И скоро он обрёл Царство Небесное ещё на земле: «Пусть я грешен перед всеми, зато и меня все простят, вот и рай. Разве я теперь не в раю?» [14; 263]. Маркел не просто сам обрёл спасение, он стал указывать путь к нему и близким и незнакомым людям. Как позже скажет сам Зосима, «нужно лишь малое семя, крохотное: брось он его в душу простолюдина, и не умрёт оно, будет жить в душе его во всю жизнь, таиться в нём среди мрака, среди смрада грехов его, как светлая точка, как великое напоминание» [14; 266].

Житие старца Зосимы свидетельствует о том, что этот духовный опыт оказался бесценным и спасительным для него. Как он сам будет вспоминать позже, «этот брат мой» был «в судьбе моей как бы указанием и предназначением свыше, ибо не явись он в жизни моей, не будь его вовсе, и никогда-то, может быть <...> не принял бы я иноческого сана и не вступил на драгоценный путь сей. <...> Юн был, ребёнок, но на сердце осталось всё неизгладимо, затаилось чувство. В своё время должно было всё восстать и откликнуться. Так оно и случилось» [14; 259, 263]. Зиновий вспоминает, что «из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь да союз. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное» [14; 263–264].

Тогда же, в раннем детстве, «до того ещё как читать научился, помню, как в первый раз посетило меня некоторое проникновение духовное, ещё восьми лет от роду. Повела матушка меня одного <...> во храм Господень, в Страстную неделю в понедельник к обедне. День был ясный, и я, вспоминая теперь, точно вижу вновь, как возносился из кадила фимиам и тихо восходил вверх, а сверху в куполе, в узенькое окошечко, так и льются на нас в церковь Божьи лучи, и, восходя к ним волнами, как бы таял в них фимиам. Смотрел я умиленно и в первый раз отроду принял я тогда в душу первое семя слова Божия осмысленно» [14; 264]. Этот духовный опыт был подкреплён чтением Священной истории: «Мимоидущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Пред правдой земною совершается действие вечной правды. <...> Господи, что это за книга и какие уроки! Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила данные с нею человеку! Точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо всё и указано на веки веков. И сколько тайн разрешённых и откровенных...» [14; 265].

Для продолжения образования Зиновий был отдан в кадетский корпус и этим «новым воспитанием многое заглушил из впечатлений детских, хотя и не забыл ничего. Взамен того принял столько новых привычек и даже мнений, что преобразился в существо почти дикое, жестокое и нелепое» [14; 268]. Исказились и многие духовно-нравственные ориентиры: «Пьянством, дебоширством и ухарством чуть не гордились. Не скажу, чтобы были скверные; все эти молодые люди были хорошие, да вели-то себя скверно, а пуще всех я» [14; 268]. Главной причиной своего падения Зосима считает гордость, из-за которой он «не примечал ничего вокруг, ослеплённый своими достоинствами» [14; 269]. Вследствие этого он и совершил своё первое преступление – вызвал на дуэль ни в чём не повинного перед ним человека. Первое преступление сразу же повлекло другое – он «со зверскою жестокостью»

избил своего денщика. Но вдруг воспоминание о собственной детской чистоте и образ брата воскресли из глубины души: «И это человек бьёт человека! Экое преступление! Словно игла острая прошла мне всю душу насквозь» [14; 270]. Совесть пробудила добро, уже задавленное гордыней и эгоизмом, и свет его позволил Зиновию увидеть всю глубину своего падения: «В самом деле, чем я так стою, чтобы другой человек, такой же, как я, образ и подобие Божие, мне служил?» [14; 270]. Он оказался на пороге самого главного выбора своей жизни: или вернуться к Свету, радости и счастью, или двинуться дальше по пути ублажения собственных страстей, разрушая душу и тело и постепенно превращаясь в бесплотного слугу зла<sup>278</sup>. Это стало началом духовного преображения и спасения Зосимы: он попросил прощения у денщика и у вызванного им на дуэль человека и начал проповедовать слово Божие так, как это делал его брат.

Третье житие рассказывает о судьбе «таинственного посетителя» старца Зосимы. Четырнадцать лет назад он из ревности убил любимую женщину и устроил так, чтобы подозрение пало на слуг. Один из них был привлечён к суду и умер под следствием, сам же убийца остался вне всяких подозрений. Он попытался загладить своё преступление «тысячью добрых дел»<sup>279</sup>: «Пустился <...> в большую служебную деятельность <...>. Пустился и в благотворительность, много устроил и пожертвовал в нашем городе, заявил себя и в столицах, был избран в Москве и в Петербурге членом тамошних благотворительных обществ. Но всё же стал наконец задумываться с мучением, не в подъём своим силам» [14; 278], ибо «страшно впасть в руки Бога живого...» (Рим. 10:31). Каждый миг сознавая себя преступником, он уже не мог общаться с «обычными» людьми, особенно с теми, кто любил его – женой и детьми. Наконец, «стал он видеть ужасные сны» [14; 279], после чего думал даже убить себя, но из-за семьи решил терпеть муки совести тайно до самой смерти. И вдруг перед ним явился пример покаяния Зосимы, и он понял, что этот путь проходим, надо лишь решиться на первый и главный шаг: «Знаю, что наступит рай для меня, тотчас же и наступит, как объявлю. Четырнадцать лет был во аде. Пострадать хочу. Приму страдание и жить начну. Неправдой свет пройдёшь, да назад не воротишься. Теперь не только ближнего моего, но и детей моих любить не смею. Господи, да ведь поймут же дети, может быть, чего стоило мне страдание моё, и не осудят меня! Господь не в силе, а в правде» [14; 280]. Однако исполнению намерения препятствовали гордость и маловерие: «Где тут правда? Да и познают ли правду эти люди, оценят ли, почтут ли её?» [14; 280]. И тогда Зиновий прочёл ему евангельскую притчу о зерне (Ин. 12:24). Истина, открывшаяся несчастному грешнику, придала ему силы: «Господь мой поборол дьявола в моём сердце» [14; 283].

Он искренне раскаялся и принёс публичное покаяние, после чего примирился с Господом, близкими и со всем миром. Рисуя судьбу этого человека, Достоевский обращается к тем, кто так же стоит на последней ступени перед самым главным шагом в своей жизни и так же не решается его сделать. Он говорит им, что путь к спасению *действительно* есть и он *действительно* проходим.

Надо лишь самому сделать к нему первый шаг, ибо «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его...» (Мф. 11:12). И тогда радость спасения искупит все прошлые муки. Об этом говорит сам «таинственный посетитель», прощаясь на смертном одре с Зиновием: «Бог сжалился надо мной и зовёт к себе. Знаю, что умираю, но радость чувствую и мир после стольких лет впервые. Разом ощутил в душе моей рай, только лишь исполнил, что надо было. Теперь уже смею любить детей моих и лобызать их. Мне не верят, и никто не поверил, ни жена, ни судьи мои; не поверят никогда и дети. Милость Божию вижу

<sup>278</sup> Достоевский писал по этому поводу: «Я думаю, люди становятся бесами или ангелами. <...> Земная жизнь есть процесс перерождения. Кто виноват, что вы переродились в чёрта?» [11; 184].

<sup>279</sup> Нетрудно заметить, что это – вариант жизни Раскольникова, не решившегося на покаяние.

в сём к детям моим. Умру, и имя моё будет для них незапятнано. А теперь предчувствую Бога, сердце как в раю веселится... долг исполнил...» [14; 283].

Эти три жития показывают разные причины грехопадения людей: заражение идеями-трихинами, разрушение традиционного воспитания, рабство страсти. Все эти типы *апо-стасии* присутствуют в *великом пятикнижии*.

Автор представляет **Петра Александровича Миусова** как совершенный тип «русского европейца», западника. Это был человек, «многие годы сряду выживший <...> за границей, <...> просвещённый, столичный, заграничный и при том всю жизнь свою европеец, а под конец жизни либерал сороковых и пятидесятих годов. В продолжение своей карьеры он перебивал в связях со многими либеральнейшими людьми своей эпохи, и в России, и за границей, знал лично и Прудона и Бакунина и особенно любил вспоминать и рассказывать, уже под концом своих странствий, о трёх днях февральской парижской революции сорок восьмого года, намекая, что чуть ли и сам он не был в ней участником на баррикадах. Это было одно из самых отраднейших воспоминаний его молодости» [14; 10]. Психологическую характеристику Миусова даёт Фёдор Павлович: «Прищемлённое самолюбие и ничего больше» [14; 52].

Образом госпожи **Хохлаковой** писатель показывает характерный тип, составляющий основу женской половины русского интеллигентного общества. Эта «добрая, но бесхарактерная женщина» [14; 296] руководствуется в жизни исключительно собственными чувствами и внешними импульсами. Отсутствие внутренней глубины делает её душевные и духовные переживания мелкими и поверхностными, а их причиной являются не «проклятые вопросы», а неудовлетворённый эгоистический инстинкт. В силу этого во всём – и в религии, и в социальной деятельности – она ищет лишь самое себя: «Я работница за плату, я требую тотчас же платы, то есть похвалы себе и платы за любовь любовью. Иначе я никого не способна любить!» [14; 53].

Полной противоположностью Хохлаковой является «помещик-бомж» **Максимов**. Он настолько не имеет собственного «я» и готов раствориться в окружающих, если они хоть немного значительнее его, что полностью обезличивается к концу романа: «Я ваших благодеяний не стою-с, я ничтожен-с. <...>. Лучше бы вы расточали благодеяния ваши тем, которые нужнее меня-с» [15; 8] и пр.

Заметим, что, несмотря на видимую противоположность характеров и судеб, Хохлакову и Максимова объединяет пошлость – неспособность к волевому акту во имя высокого идеала.

Предшественником штабс-капитана **Снегирёва** в *великом пятикнижии* является Мармеладов. Они оба образованны и обладают многими душевными достоинствами, которые, однако, перечёркивает единственный, но сильнейший недостаток – слабоволие. Они не борются с возникающими трудностями, а уходят от них в пьянство. Слабость рождает грех, грех – страдание, которое усиливается от сознания того, что причиной несчастья близких людей являешься ты сам. Как и Мармеладов, Снегирёв отягощён семейством, он вынужден заботиться о тех, кто погибнет без помощи, и эта забота удерживает его от окончательного падения. Однако признаться в этом Снегирёву мешает «неизъяснимая гордость» [14; 193]. По слабости он не бунтует против Бога, но готов переложить на Него ответственность за свою жизнь: «Целую жизнь не говорил словоерсами, вдруг упал и встал с словоерсами. Это делается высшею силой» [14; 182]. Грех заслонил от него Бога, и Снегирёв остро чувствует это: «А пока живу я, кто-то меня, скверненького, кроме них возлюбит? Великое это дело устроил Господь для каждого человека в моём роде-с. Ибо надобно, чтоб и человека в моём роде мог хоть кто-нибудь возлюбить-с...» [14; 183].

Как слабый человек, Снегирёв надеется не на свои силы, а на чудесное изменение обстоятельств: «Купим лошадку да кибитку, да лошадку-то вороненькую, <...>, да и отпра-

вимся <...>. Ну так посадить бы маменьку, посадить бы Ниночку, Илюшечку править посажу, а я бы пешечком, пешечком, да всех бы и повёз-с...» [14; 192]. И в конце концов «переедем в другой город, в хороший <...> город, где про нас и не знают» [14; 189]. Эта картина является явной аллюзией к ветхозаветному сюжету спасения праведного Ноя (Быт. 6:9–8:22). Однако Достоевский показывает, что главной причиной человеческих бед является сам человек. Нет греха «единичного», потому что все люди – братья по своему Отцу, и между ними существует постоянная и неразрывная связь. Поэтому причиной страданий одного человека становится грех другого.

Психологическую характеристику Снегирёва даёт Алексей Карамазов: «Есть люди глубоко чувствующие, но как-то придавленные. Шутовство у них в роде злобной иронии на тех, которым в глаза они не смеют сказать правды от долговременной унижительной робости пред ними. <...> Такое шутовство чрезвычайно иногда трагично. У него всё теперь, всё на земле совокупилось в Илюше, и умри Илюша, он или с ума сойдёт с горя, или лишит себя жизни» [14; 483]. И потому, что о дальнейшей судьбе Снегирёва ничего не сообщается, можно предположить, что ею и стал один из путей, о которых говорил Алексей.

**Среднее поколение** героев романа представлено четырьмя братьями Карамазовыми: Дмитрием, Иваном, Алексеем и Павлом Смердяковым, которого следует считать сыном Фёдора Павловича по множеству косвенных авторских указаний. В духовном смысле братья отличаются друг от друга только степенью апостасии, так как каждый из них совершает какое-либо преступление. По глубине апостасии (от большей к меньшей) их можно расположить так: Иван, Смердяков, Дмитрий и Алексей. Алексей и Иван являются идейными антагонистами, и между ними возникает главный идейный конфликт в романе, основу которого образует вопрос о бытии Божиим.

Иван выражает крайнюю нигилистическую позицию: нет ни Бога, ни бессмертия, а есть лишь «совершенный нуль». Алексей столь же категорично утверждает бытие Бога и наличие бессмертия: «В Боге и бессмертие» [14; 123]. Дмитрий внутренне ближе к позиции Алексея, но он уже полностью подчинён страсти сластолюбия, унаследованной от отца. Поэтому, даже сознавая гибельность своего пути и внутренне желая спасения, он не может сам освободиться от рабства страсти. На искреннее и горячее желание Дмитрия спастись от смерти отвечает Господь, посылая ему тяжкое (по заслугам) страдание. Другая причина грехопадения Дмитрия заключается в стремлении жить по естественным законам, подчиняясь лишь голосу совести. Его пример подтверждает мысль Достоевского о том, что «совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного» [27; 56].

В авторском предисловии *главным героем* романа назван **Алексей Карамазов** [14; 5], а между тем в его внешности нет ничего, что особо выделяло бы его среди других людей: «Он был в то время даже очень красив собою, строен, средне-высокого роста, тёмнорус, с правильным, хотя несколько удлинённым овалом лица, с блестящими тёмно-серыми широко расставленными глазами, весьма задумчивый и по-видимому весьма спокойный» [14; 24]. Из психологических черт автор называет лишь «дикую, исступлённую стыдливость и целомудренность» [14; 19], а также отмечает *правильную* религиозность, при которой «вера не от чуда рождается, а чудо от веры» [14; 24].

Очевидно, что статус героя обусловлен духовно-нравственными особенностями его личности, выделяющими его среди других персонажей. Содержание этих черт отражает основные требования христианства к человеку. Христос говорит в Евангелии: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13:34); «Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца» (1 Пет. 1:22). И Алексей, по словам автора, был «просто ранний человеколюбец» [14; 17], «людей он любил: он, казалось, всю жизнь жил, совершенно веря в людей, а между тем никто и никогда не считал его

ни простячком, ни наивным человеком» [14; 18]. При этом «характер любви его был всегда деятельный. Любить пассивно он не мог; возлюбив, он тотчас же принимался и помогать. А для этого надо было поставить цель, надо твёрдо было знать, что каждому из них хорошо и нужно, а утвердившись в верности цели, естественно, каждому из них и помочь» [14; 170]. Деятельная любовь Алексея к людям вызывает ответное чувство: «Все этого юношу любили, где бы он ни появился, и это с самых детских даже лет его» [14; 19]. Казалось, что «дар возбуждать к себе особенную любовь он заключал в себе, так сказать, в самой природе, безыскусственно и непосредственно» [14; 19]. И в результате «товарищи его до того полюбили, что решительно можно было назвать его всеобщим любимцем во всё время пребывания его в школе». Со сверстниками был «ровен и ясен» и «никогда не хотел выставляться. Может, по этому самому он никогда и никого не боялся», был «смел и бесстрашен. Обиды никогда не помнил» [14; 19]. Даже отец Алексея, «человек чуткий и тонкий на обиду, сначала недоверчиво и угрюмо его встретивший <...>, скоро кончил однако же, тем, что стал его ужасно часто обнимать и целовать, <...> полюбив его искренно и глубоко и так, как никогда, конечно, не удавалось такому, как он, никого любить...» [14; 18–19].

Христос учит: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить» (Мф. 7:1–2). И что-то было в Алексее, «что говорило и внушало (да и всю жизнь потом), что он не хочет быть судьёй людей, что он не захочет взять на себя осуждения и ни за что не осудит. Казалось даже, что он всё допускал, нимало не осуждая, хотя часто очень горько грустя. Мало того, в этом смысле он до того дошёл, что его никто не мог ни удивить, ни испугать, и это даже в самой ранней своей молодости. Являсь по двадцатому году к отцу, положительно в вертеп грязного разврата, он, целомудренный и чистый, лишь молча удалялся, когда глядеть было нестерпимо, но без малейшего вида презрения или осуждения кому бы то ни было» [14; 18].

Алексей содержит в себе множество черт, о которых Евангелие говорит как о необходимых условиях достижения счастья и спасения. Так, сказано Христом: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены Сынами Божиими» (Мф. 5:9), и Алексей защищает отца от Дмитрия [14; 128–129], а Грушеньку – от Катерины Ивановны [14; 140], встаёт между враждующими мальчиками и т. д.» [14; 163]. Он испытывает «действительно серьёзное горе», когда ему не удастся примирить Ивана с Катериной Ивановной: «Беда в том, что несомненно теперь я буду причиною новых несчастий... А старец посылал меня, чтобы примирить и соединить» [14; 178].

Спаситель учит: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3). И Лиза Хохлакова замечает Алексею: «Да вы сами после того мальчик, самый маленький мальчик, какой только может быть!» [14; 166]. Христос говорит ученикам: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело – одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Мф. 6:25–26). И Алексей, по словам Миусова, «может быть, единственный человек в мире, которого оставьте вы вдруг одного и без денег на площади незнакомого в миллион жителей города, и он ни за что не погибнет и не умрет с голоду и холоду, потому что его мигом накормят, мигом пристроят, а если не пристроят, то он сам мигом пристроится, и это не будет стоить ему никаких усилий и никакого унижения, а пристроившему никакой тягости, а, может быть, напротив, почтут за удовольствие» [14; 20]. Евангельскую параллель усиливают слова Фёдора Павловича: «Ты денег, что канарейка, тратишь, по два зёрнышка в недельку...» [14; 23].

Эти и другие христианские свойства личности Алексея дают право считать его еще одним (после старца Макара в «Подростке») воплощением давнего намерения Достоевского «изобразить положительно прекрасного человека» [28, 2; 250–251]. Напомним, что

первоначально эти слова относились к образу *главного героя* романа «Идиот», но, в отличие от князя Мышкина, христоподобность образа Алексея достаточно мотивирована – он воспринял духовную природу своей матери-«кликуши» в той же мере, в которой его брат Иван воспринял духовную природу отца. Обоих братьев роднит карамазовская черта – неутолимая, сладострастная жажда жизни. Но если у Ивана она в конце концов полностью вырождается в страсть, то у Алексея – в стремление к преображению мира по закону Христову.

Достоевский показывает, что напряжённая духовная работа ни на миг не прекращалась в Алексее: «В детстве и юности он был мало экспансивен и даже мало разговорчив, но не от недоверия, не от робости или угрюмой нелюдимости, вовсе даже напротив, а от чего-то другого, от какой-то как бы внутренней заботы, собственно личной, до других не касавшейся, но столь для него важной, что он из-за неё как бы забывал других» [14; 18]. Автор раскрывает причину этой «заботы» – Алексей был «деятель, но деятель неопределённый, невыяснившийся» [14; 5]. Он видит несовершенство мира, «лежащего во зле» (1 Ин. 5:19), и ищет ясный и предметный идеал для приложения своих сил [14; 17]. В поисках его он оставляет учёбу, возвращается в родительский дом, а затем поступает в монастырь послушником.

Автор замечает, что «вступил он на эту дорогу потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал исхода рвавшейся из мрака к свету души его. Прибавьте, что был он юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий её и верующий в неё, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силой души своей, требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. <...>. Едва только он, задумавшись серьёзно, поразился убеждением, что бессмертия и Бог существуют, то сейчас же, естественно, сказал себе: «Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю». <...> Алёше казалось даже странным и невозможным жить по-прежнему. Сказано: «Раздай всё и иди за Мной, если хочешь быть совершен». Алёша и сказал себе: «Не могу я отдать вместо «всего» два рубля, а вместо «иди за Мной» ходить лишь к обедне»» [14; 25]. Полагаем, что одной из важнейших целей писателя при создании этого образа было намерение показать настоящего, подлинного христианина.

Сущность грехопадения Алексея состоит в нарушении им второй заповеди Декалога: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира...» (Исх. 20:3–4). Достоевский говорит, что «вся любовь, таившаяся в молодом и чистом сердце его ко «всем и вся», в то время <...> как бы вся временами сосредоточивалась <...> лишь на одном существе преимущественно, по крайней мере в сильнейших порывах сердца его, – на возлюбленном старце его, теперь почившем. Правда, это существо столь долго стояло пред ним как идеал бесспорный, что все юные силы его и всё стремление их и не могли уже не направиться к этому идеалу исключительно, а минутами так даже и до забвения «всех и вся». <...> Тот, который должен <...> быть вознесён превыше всех в целом мире <...>, праведнейший из праведных... <...> лицо, возлюбленное им более всего в мире» [14; 306]. Этими словами Достоевский показывает искажение любви Алексея, ибо *так* можно относиться лишь к Богу, но не к человеку. Это чувствует и сам Зосима, и для того, чтобы освободить юношу от этой страсти и предупредить искажение его духовного развития, он благословляет Алексея на великое послушание в миру.

Вследствие того, что вся любовь Алексея обратилась исключительно на старца Зосиму, его смерть особым образом повлияла «на душу и сердце <...> Алёши, составив в душе его как бы перелом и переворот, потрясший, но и укрепивший его разум уже окончательно, на всю жизнь и к известной цели» [14; 297]. Он почувствовал жестокую несправедливость в том, что после смерти Зосима получил от людей не славу, а поругание. Ослеплённый любо-

вью к старцу, Алексей забыл, что так же закончил свой земной путь и Христос, он забыл о Промысле Божиим и восстал против видимой земной несправедливости: «За что? Кто судил? Кто мог так рассудить? <...> Где же Провидение и перст Его? К чему сокрыло Оно свой перст «в самую нужную минуту» (думал Алёша) и как бы само захотело подчинить себя слепым, немым, безжалостным законам естественным?» [14; 307]. Но вдруг Алексея поражает мысль, что он задаёт себе те же вопросы, которые совсем недавно ставил перед ним Иван, пытаясь разрушить его веру: «О, не то чтобы что-нибудь было поколеблено в душе его из основных, стихийных, так сказать, её верований. Бога своего он любил и веровал в Него незыблемо, хотя и возроптал было на Него внезапно. Но всё же какое-то смутное, но мучительное и злое впечатление от припоминания вчерашнего разговора с братом Иваном вдруг теперь снова зашевелилось в душе его и всё более и более просилось выйти на верх её» [14; 307–308].

Алексею предстоит борьба с искушениями, главные из которых придут со стороны самых близких людей, как это было с Иовом, образ которого в Ветхом Завете прообразует Христа. Как и в случае с ветхозаветным праведником, близкие действуют не самостоятельно, а лишь выступают орудием в руках сатаны. Поэтому наиболее сильные искушения Алексей испытывает со стороны брата Ивана и единственного друга – семинариста Ракитина.

Первое искушение произошло, когда отец потребовал от Ивана и Алексея ответа о бытии Бога и бессмертия. Иван ответил категорическим «нет», Алексей – столь же категорическим «да». Скоро обнаруживается, что эта категоричность была вызвана намерением Ивана «раздразнить» брата и привлечь к себе [14; 213]. На следующий день он продолжит разговор: «Что же до меня, то я давно уже положил не думать о том: человек ли создал Бога или Бог человека? <...> А потому и объявляю, что принимаю Бога прямо и просто» [14; 214]. В этих словах заметно лукавство, потому что от ответа на вопрос о природе Бога и человека зависят все дальнейшие вопросы и ответы. Если Бог создал человека, то Он является для человека источником всякой жизни, истины, добра и красоты – всей полноты мира, без которого жизнь человеческая бессмысленна и невозможна. А если человек придумал Бога для какой-то своей надобности, то он вполне может в любой момент отказаться от Него. О неискренности Ивана свидетельствует и его оговорка, показывающая, что для себя он этот вопрос давно решил: «И действительно, человек выдумал Бога» [14; 214]. Поэтому когда Иван говорит, что «принимает Бога», он словно разрешает Ему *быть*, оставляя за собой право в любой момент перестать Его *принимать*.

Внезапно выясняется, что Иван уже беседовал на подобные темы с верующими людьми: «Ужасно я люблю такие *profession de foi*<sup>280</sup> от таких... послушников» [14; 210]. И становится ясно, что разговор с братом – лишь одна из многих попыток пошатнуть веру праведника и столкнуть его с пути к Богу. Иван продолжает испытывать прочность убеждения брата: «Ведь ты твёрдо веришь, да? Я таких твёрдых люблю, на чём бы там они не стояли...» [14; 209]. Скоро он находит ответ на свой вопрос: «Твёрдый ты человек, Алексей» [14; 210]. Может показаться, что в разговоре с братом Иван ищет надёжного основания для собственной жизни, но на самом деле он лишь хочет расшатать убеждения Алексея, советуя ему «никогда не думать <...> насчет Бога: есть ли Он или нет? Всё это вопросы совершенно несвойственные уму, созданные с понятиями лишь о трёх измерениях» [14; 214].

Когда заведомо верующему человеку предлагается не думать о бытии Божиим, это означает либо сомнение в крепости его веры, либо намерение поставить его рядом с собой: я, дескать, в Бога не верю, потому что ещё неизвестно, есть Он или нет, так что и ты не верь. Заметим, что желание не укреплять веру своего брата, а расшатывать и разрушать её, есть желание дьявольское, а Иван к тому же активно использует для достижения своей цели ложь.

<sup>280</sup> Исповедание веры (*лат.*).



Так, «три измерения», о которых он говорит, описывают лишь материальный, физический мир, и потому они могут быть отнесены лишь к мозгу, как материальному предмету, но никак ни к разуму, который в силу своей духовной природы обладает особым «четвёртым» измерением, способным подчинять себе все другие и управлять ими, – верой. Благодаря ей человек, сотворённый по образу и подобию Бога (Быт. 1:26), способен постигать Его сущность.

Ложь нарастает с каждым словом Ивана и приобретает характер глумления: «Если Бог есть и если Он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал Он её по евклидовой геометрии...» [14; 214]. Получается, что хотя Бог и создал землю, но сделал Он это по человеческим законам. Иначе, как дьявольской, такую логику назвать невозможно.

Допуская существование Бога, Иван фактически отвергает Его личностное бытие. Но его цель заключается не столько в том, чтобы выразить собственное мнение, сколько в том, чтобы разрушить веру Алексея. Поэтому он не отталкивает брата категорическим отрицанием, а заявляет: «Итак, принимаю Бога, и не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость Его, и цель Его, нам совершенно уж неизвестные, верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольёмся, верую в Слово, к которому стремится вселенная и которое само «бе к Богу» и которое есть само Бог, ну и прочее и прочее, и так далее в бесконечность» [14; 214]. Но при этом, заявляет Иван, «я мира этого Божьего – не принимаю и хоть и знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не Бога не принимаю, <...> я мира, Им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять» [14; 214]. Однако неприятие творения неизбежно влечёт неприятие Творца, а затем и стремление занять Его место.

С развитием сюжета самой яркой чертой образа Ивана становится расколотость, раздвоенность. Она является характерной чертой и некоторых других героев *великого пятикнижия*: Раскольников, Ставрогин и Версилова. Живой, реальный человек в них всё более вытесняется злом, приобретающим личностный характер. Но если в Раскольникове «точно <...> два противоположные характера поочерёдно сменяются» [6; 165], то Ставрогин и Иван, в силу тяжести совершённых ими преступлений, оказываются на границе физического и духовного мира и начинают видеть собственное зло в образе беса (Ставрогин) и даже сатаны (Иван). Поэтому устами Ивана иногда говорит человек, а иногда – сам сатана, являющийся источником всякой лжи (Ин. 8:44). Эта разделённость человеческой личности на ещё живую и уже мёртвую половину особенно заметна в следующих словах, обращённых к Алексею: «Не тебя я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя, я, может быть, себя хотел бы исцелить тобою, – улыбнулся вдруг Иван совсем как маленький кроткий мальчик» [14; 215]. Последние слова указывают на то, что *сам* Иван действительно не лжёт, – точно так же, как не лжёт *человек* Ставрогин, ищущий спасения у Тихона [11; 5–31]. Но беда в том, что воля Ставрогин и Ивана уже принадлежат не им, а сатане, который и стремится во что бы то ни стало сдвинуть Алексея «с устоя». Для этого он пытается играть на самой чувствительной струне в сердце каждого человека – гордости, и поэтому Иван неожиданно умалывается, принижается перед братом, невольно вынуждая его почувствовать некое тщеславное удовлетворение.

Особую остроту ситуации придаёт то, что Иван не может осознать гибельность своего положения до тех пор, пока злая половина его души не воплотится в навязчивый кошмар. Потому его словами движет лишь эгоизм: *я* хочу исцелить *себя* тобой. Это происходит оттого, что Иван отвергает самую главную основу христианского вероучения – идею *любви* Бога к человеку и человека к человеку. Он даже утверждает, что все подвиги самопожертвования во имя любви есть не что иное, как «надрыв лжи из-за заказанной долгом любви» [14; 215]. На возражение Алексея о том, что «ведь есть и много любви в человечестве, и почти подобной Христовой любви, что я сам знаю...» [14; 216], Иван отвечает: «Ну я-то пока ещё этого не знаю и понять не могу, и бесчисленное множество людей со мной

тоже» [14; 216]. С одной стороны, он использует нечестный приём – апелляцию к мнению некоего «бесчисленного множества» единомышленников, построенную на основании принципиальной непроверяемости этого мнения. А с другой, эти слова говорят о том, что Иван действительно ничего не знает о такой любви, потому что у него нет такого личного духовного опыта, как у Алексея. Поэтому Иван занимает позицию защиты, позволяющую отвергать все факты, не укладывающиеся в его представление об истине: «Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факту, а я решил оставаться при факте...» [14; 222]. Иван продолжает наносить удары по вере Алексея, поднимая важнейшие догматические вопросы православного вероучения. Так, говоря о невозможности людей любить друг друга, он замечает: «Вопрос ведь в том, от дурных ли качеств людей это происходит, или уж оттого, что такова их натура» [14; 216]. Сам Иван придерживается последней точки зрения: «По-моему, Христова любовь к людям есть в своём роде невозможное на земле чудо. Правда, Он был Бог. Но мы-то не боги» [14; 216]. Люди действительно не боги, но они сотворены по образу Божьему и призваны своим трудом, при благодатной помощи Божией, достичь Его подобия. Отвергать эту возможность – значит, отвергать сам замысел Бога о человеке, изначально несущем в себе *in potentia* все свойства Бога и среди них главное – способность любить. Но когда человек начинает использовать свои таланты не на исполнение воли Божией, а на удовлетворение собственных страстей, они рано или поздно искажаются и иссыкают. Особое значение в этой связи имеет страсть гордыни, развитие которой приводит к утрате человеком способности любить, потому что гордец считает себя единственным законным объектом любви всех и *не может* представить себе, что кого-то можно любить так же, как и его. Поэтому Иван способен лишь «любоваться, но всё-таки не любить» других людей, ибо «они отвратительны и любви не заслуживают» [14; 216].

Подвергнув сомнению бытие Бога, он пытается доказать Алексею и отсутствие дьявола: «Я думаю, что если дьявол не существует и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию...» [14; 217]. Алексей отвечает: «В таком случае, равно как и Бога». Иван смеётся: «Ты поймал меня на слове, пусть, я рад. Хорош же твой Бог, коль его создал человек по образу своему и подобию» [14; 218–219]. Иван радуется тому, что смог немного пошатнуть веру брата, ведь Алексей *позволил себе* встать на его позицию и на мгновение предположить, что Бога создал человек. Он даже не заметил, что тем самым невольно согласился с мыслью Ивана о том, что дьявол не существует так же, как и Бог, и что его тоже «создал» человек. Между тем и Алексей и Иван не могут не знать учения Церкви о происхождении дьявола, равно как и то, что одной из его целей является стремление убедить человека в том, что его, дьявола, на самом деле не существует. Ведь если человек не верит в существование дьявола, он *в полноте* не верит (или не верит совсем) и в существование Бога. И ради того, чтобы человек забыл о Боге, дьявол готов согласиться с тем, чтобы человек не верил и в него. Он знает, что оставшийся в одиночестве человек, не имея помощи Бога, неизбежно начнёт преступать Его закон и рано или поздно погибнет.

Одержав эту маленькую победу, Иван прибегает к сильнейшему и неотразимому аргументу – страданиям безвинных детей. Он объясняет жестокость людей по отношению друг к другу и особенно к детям *естественным* происхождением человека: «Во всяком человеке, конечно, таится зверь, зверь гневливости, зверь сладострастной распалённости от криков истязуемой жертвы, зверь без удержу, спущенного с цепи, зверь нажитых в разврате болезней, подагр, больных печёнок и проч.» [14; 220]. Но, говоря *своё*, Иван невольно обнаруживает правду: причина появления «зверя» в душе человека – развитие духовных, душевных и телесных болезней, приобретённых им после отращения от Бога.

Наконец духовное сознание Алексея расшатано дьявольской логикой, и тогда Иван создаёт ситуацию искушения, заставляя Алексея делать невозможное – судить другого чело-

века и принимать решение об его праве на жизнь: ««Что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алёшка!» – «Расстрелять!» – тихо проговорил Алёша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата. – «Браво!» – завопил Иван в каком-то восторге, – «уж коли ты сказал, значит... Ай да схимник! Так вот какой у тебя бесёнок в сердечке сидит, Алёшка Карамазов!» – «Я сказал нелепость, но...». – «То-то и есть, что но...» – кричал Иван. – Знай, послушник, что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит и без них, может быть, в нём совсем ничего бы и не произошло. Мы знаем, что знаем!»» [14; 221]. Последние слова кричит уже не человек Карамазов, а сатана, радующийся падению праведника. Ведь Алексей не просто нарушил шестую заповедь Декалога, он в духовном смысле опустилсь намного ниже того, где был ёдень назад. Тогда он категорически отверг идею Ивана о праве одних людей определять судьбы других: «Неужели имеет право всякий человек решать, смотря на остальных людей, кто из них достоин жить и кто более недостоин?» [14; 131]. Но сегодня Иван силою сатаны смог сделать так, что Алексей сам ответил на свой вопрос, и ответил неправильно.

На радостях сатана заставил Ивана проговориться («Мы знаем!»), и Алексей заметил это: «Что ты знаешь?». Он внезапно почувствовал, что произошло нечто ужасное, что человек, которого он так любил и которому так доверял, заставил его совершить преступление. Алексей просит Ивана сказать, зачем он это сделал, но за Ивана отвечает его господин: «Конечно, скажу, к тому и вёл, чтобы сказать. Ты мне дорог, я тебя упустить не хочу и не уступлю твоему Зосиме» [14; 222]. Вот она – битва за душу человеческую, о которой говорил Дмитрий [14; 100] и которая началась ещё в допотопные времена.

Фактически диалог Ивана и Алексея воспроизводит сюжет искушения Христа сатаной (Мф. 4:1–11), что придаёт обычному разговору двух частных людей вневременной духовный смысл. Видя несовершенство окружающего мира, Иван обвиняет в нём Бога, а не повреждённую грехом человеческую природу. Гордыня препятствует ему обвинить в чём-либо и самого себя, поэтому он считает себя вправе обращаться к Богу на равных, чуть ли не угрожая Ему: «Мне надо возмездия, иначе ведь я истреблю себя» [14; 222]. Сейчас в лице Ивана тот же самый дух, который искушал Христа в пустыне и до времени оставил Его, вновь приступает к Нему со своими немощными дерзостями, требуя, чтобы Бог «внёс поправки» в мироустройство. Кажущаяся справедливость этого требования имеет целью оттолкнуть человека от Бога, посеять между ними вражду.

Сатана сам говорит об этом: «И пока я на земле, я спешу взять свои меры» [14; 223]. Так бунт горделивого «я», который некогда превратил светлого ангела Денницу в сатану, продолжается в вечности.

Иван искушает Алексея, ставя перед ним вопросы, внешне вроде бы связанные с верой в Бога, но на самом деле уведящие от Него. Он предлагает Алексею вопрос о цене входного билета в рай, устанавливая в качестве такой цены слезу невинного ребёнка. Но быть причиной чужого страдания – значит идти не в рай, а в прямо противоположном направлении. Да и настоящая цена подобного «билета» давно определена тем, кто является хозяином рая – Царём Небесным.

Наконец, Иван прибегает к последнему средству. Он рассказывает Алексею поэму о Великом инквизиторе. Хотя Иван и говорит, что он сам её «выдумал и запомнил» [14; 224], его невольная оговорка обнаруживает настоящего автора: «Но дьявол не дремлет...» [14; 226]. Содержание поэмы образует повествование о втором пришествии Христа. Христианский догмат о втором пришествии Спасителя опирается на Священное Писание и Предание. Однако автор «поэмы» игнорирует эти источники и влагает в этот сюжет *своё* содержание. В итоге «поэма» о втором пришествии Христа превращается в рассказ о появлении в мире антихриста. В широком смысле под антихристом понимается всякий человек, отвергающий

Христа, стремящийся занять Его место или действовать от Его имени. Автор «поэмы» показывает, что именно так и поступает Великий инквизитор.

В основе его деятельности – гордая и презрительная любовь к человеку, не способному использовать данную ему Богом свободу для достижения собственного счастья. Инквизитор отвергает путь к счастью, указанный Христом, считая его непреодолимым для большинства «слабосильных» людей, и решает «идти по указанию умного духа, страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению, и при том обманывать их всю дорогу, чтоб они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того чтобы хоть в дороге-то жалкие эти слепцы считали себя счастливыми» [14; 238]. Так Достоевский раскрывает содержание *западной идеи* – «настоящей руководящей идеи всего римского дела» [14; 238], которая уже много веков существует в Европе в образе римского первосвященника и «в виде целого сонма многих таковых единых стариков и не случайно вовсе, а существует как согласие, как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны, для хранения её от несчастных и малосильных людей, с тем чтобы сделать их счастливыми. Это непременно есть, да и должно так быть» [14; 239].

По мысли писателя, на этот путь Европа свернула в VIII веке и с тех пор идёт по нему, всё дальше уходя от первоначального учения Христа. Таким первым шагом стал отказ Западной христианской церкви, олицетворяемой в романе образом Великого инквизитора, от первоначального учения Христа в ситуации «дьяволова искушения» (Мф. 4:1–11). Это было связано с проявлением непомерной гордыни и желания исправить кажущееся несовершенство Божьего творения. В основе его лежит неверие в Бога и сознательное упование лишь на собственные силы, о чём Алексей прямо говорит Ивану: «Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет!», и «ты не веришь в Бога, – прибавил он, но уже с чрезвычайною скорбью» [14; 238, 239]. И Иван отвечает: «Хотя бы и так! Наконец-то ты догадался. И действительно так, действительно только в этом и секрет. . .» [14; 238]. В его «поэме» Великий инквизитор говорит Христу: «И я ли скрою от Тебя тайну нашу? Может быть, Ты именно хочешь услышать её из уст моих, слушай же: мы не с Тобой, а с *ним*, вот наша тайна! Мы давно уже не с Тобою, а с *ним*, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад как мы взяли от него то, что Ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал Тебе, показав тебе все царства земные<sup>281</sup>; мы взяли от него Рим и меч Кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и доньше не успели ещё привести наше дело к полному окончанию» [14; 234].

Иван сделал свой выбор. Он – вместе с Великим инквизитором и его господином. Отвергнув Бога, Иван стал слугой сатаны, одним из предтеч того антихриста, о появлении которого предупреждает Священное Писание. Он сделал это потому, что в какой-то момент решил, что вполне может обойтись и без Бога и без других людей. Иван поверил, что сможет достичь счастья и могущества сам, без посторонней помощи. И так же, как это было с Раскольниковым и Ставрогиным, «страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия» убедил Ивана в собственном величии и взрастил его гордыню настолько, что скоро она заполнила всю его душу. Но чувство превосходства над окружающими нуждалось в постоянном подкреплении, Ивану стало необходимым доказывать себе и окружающим, что он – «сильный человек». Да и гордыня требовала всё новой и новой пищи, и Иван стал кормить её, ввергая тех, кто слабее его, в грех и смерть, совращая «послушников» с пути спасения. Он и Алексея попытался соблазнить тем, чем некогда соблазнился сам – правом сильного человека жить по своим законам, без оглядки на Бога и других людей, ставшим единственной верой Ивана: «От формулы «всё позволено» я не отрекусь. . .» [14; 240].

<sup>281</sup> Имеется в виду третье искушение (Мф. 4:8–11).

Глубочайшая трагедия Ивана заключается в том, что ещё живой частью сердца он искренне любит брата, но зло, завладевшее его душой, требует принести Алексея в жертву. Иван не может противиться воле своего господина и пытается завладеть душой брата, но терпит неудачу. Он уходит от Алексея, который вдруг замечает, что «Иван идёт как-то раскачиваясь и что у него правое плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого. Никогда он этого не замечал прежде» [14; 241]<sup>282</sup>. Внезапно Алексей понимает, с кем он сейчас разговаривал, и в ужасе молитвенно обращается за помощью к своему учителю: «Он спасёт меня от него... и навеки!» [14; 241].

Последние слова указывают на искажение веры Алексея, бессознательно приписывающего свойства Бога обычному человеку, пусть даже и достигшему высокой степени уподобления Ему. Зосима занимал в душе юноши место, которое может принадлежать лишь Богу, и потому со смертью старца он почувствовал небывалую прежде пустоту. Алексею показалось, что с уходом его любимого учителя из мира ушла и сама любовь, а значит, исчез и смысл жизни. Острое чувство обиды на Бога за несправедливое устройство жизни приводит к тому, что в какой-то момент Алексей готов, подобно Ивану, отречься от Бога, отвергнуть Его мир и шагнуть в бездну.

Этот акт апостасии и становится грехопадением Алексея, потому что уже само намерение или даже готовность нарушить закон Божий является грехом. Чтобы окончательно погубить пошатнувшегося праведника, сатана подсылает к нему беса-искусителя в облике «семинариста-карьериста» Ракитина. Он и прежде пытался искушать Алексея нечистыми мыслями: «Ты об этом думал...» [14; 73], постоянно чертыхаясь и зло радуясь каждой оговорке «друга». Однако до сих пор Алексей был в силах противостоять его натиску, и это всегда вызывало дикую злобу Ракитина [14; 76]. Теперь же, заметив душевную смуту Алексея, Ракитин стремится во что бы то ни стало довести задуманное до конца. Заговорив о смерти Зосимы, он отвергает саму возможность чудесных знамений святости почившего: «Фу, чёрт, да этому и тринадцатилетний школьник теперь не верит...» [14; 308]<sup>283</sup>. Эти слова показывают степень разложения религиозного ядра общественного сознания России, к середине XIX века выродившегося, с одной стороны, в слепой бессмысленный фанатизм и обрядовере, а с другой – в холодный скептицизм и рационализм.

Следующим шагом Ракитин возбуждает человеческую природу Алексея, переводя его внимание с внутренних, душевных переживаний на плотские чувства: «Всего-то антидорцу кусочек, надо быть, пожевал» [14; 309]<sup>284</sup>. Ракитин сознательно нарушает церковный устав и понуждает сделать то же и Алексея: «Есть у меня с собой в кармане колбаса <...>, только ведь ты колбасы не станешь... <...> Я бы водочки сам теперь тьянул... Водки-то небось не решишься... аль выпьешь?» [14; 309]. Но Алексей соглашается, не видя в продолжении прежнего образа жизни никакого смысла, и тогда Ракитин решает взять от этой ситуации всё возможное и предлагает ему пойти к Грушеньке.

Достоевский замечает, что Ракитин был «человек серьёзный и без выгодной для себя цели ничего не предпринимал. Цель же у него теперь была двойкая, во-первых, мстительная, то есть увидеть «позор праведного» и вероятное «падение» Алёши «из святых во грешники», чем он уже заранее упивался, а во-вторых, была у него тут в виду и некоторая материальная, весьма для него выгодная цель...» [14; 310]. Дело в том, что Грушенька пообещала Ракитину двадцать пять рублей, если он приведёт к ней Алексея, которого считала лицемером, прикрывающим подряском карамазовскую скверну. Но увидев несчастного, поражённого глупо-

<sup>282</sup> Так же уходит Порфирий Петрович от Раскольникова [6; 353].

<sup>283</sup> Ракитин повторяет слова В. Г. Белинского из знаменитого письма Н. В. Гоголю от 15 июля 1847 г.: «Неужели вы этого не знаете, Ведь это теперь не новость для всякого гимназиста».

<sup>284</sup> *Антидор* представляет собой часть особого богослужебного хлеба, части которого раздают участникам богослужения после его окончания.

ким горем, она раскаялась в своих дурных намерениях и искренне попросила у Алексея прощения. Он поражён: «Я шёл сюда злую душу найти – так влекло меня самого к тому, потому что я был подл и зол...» [14; 318]. Последними словами Достоевский особо подчёркивает, что причина падения человека кроется в нём самом. Алексей «разрешил себе» переступить через то, что прежде считал непререкаемой святыней, и оказался на краю бездны. От окончательного падения его спасла чистая и искренняя любовь Грушеньки. Алексей благодарит её за помощь: «Ты мою душу сейчас восстановила <...>. Я <...> нашёл сестру искреннюю, нашёл сокровище – душу любящую...» [14; 318]. Алексей увидел, узнал и навсегда поверил, что любовь, заповеданная Христом, пребывает в мире вовек.

Этой ситуацией Достоевский иллюстрирует святоотеческую мысль о том, что Бог попускает человеческое зло, претворяя его в добро. Ракитин хотел подтолкнуть праведника к гибели, но Господь повернул его злую волю во благо. Это поражает Ракитина: «Что ж, обратил грешницу? – злобно засмеялся он Алёше. – Блудницу на путь истины обратил? Семь бесов изгнал, а? Вот они где, наши чудеса-то давешние, ожидаемые, совершились!» [14; 324]. Но Ракитину не удаётся раздражить и обидеть Алексея, и это злит его ещё больше: «Это ты теперь за двадцать пять рублей меня давешних «презираешь»? Продад, дескать, истинного друга. Да ведь ты не Христос, а я не Иуда» [14; 325]. Но Ракитин лжёт, как всякий бес. Он «дружил» с Алексеем только потому, что тот был близок к старцу Зосиме, и Ракитин надеялся использовать эту близость в своих целях. Почувствовав, что проиграл сражение за душу Алексея, Ракитин скрывается в переулке, и слова Алексея проясняют символическое значение происшедшего: «Ракитин ушёл в переулок. Пока Ракитин будет думать о своих обидах, он будет всегда уходить в переулок... А дорога... дорога-то большая, прямая, светлая, хрустальная, и солнце в конце её...» [14; 326].

Теперь ему необходимо восстановление в вере. Алексей возвращается в монастырь, где отец Паисий читает Евангелие над телом старца Зосимы, и слышит рассказ о чуде в Кане Галилейской (Ин. 2:1–12). Церковь учит, что цель этого чуда «была та, чтобы утвердить учеников в вере. Иисус Христос Сам говорил: «Аще знамений и чудес не видите, не имати веровати» (Ин. 4:48). Особенно это нужно было для новых последователей, когда они в проповеди Его ещё многого не понимали, и в некоторых случаях даже соблазнялись Его учением и оставляли Его и уже никогда не ходили с Ним (Ин. 6:66)...» (218, 127). Слушая давно знакомые слова, Алексей коленопреклоненно молится, и происходит Богоявление, ибо «где двое или трое собраны во имя Моё, там Я среди них», – говорит Христос (Мф. 18:20). Духовные очи Алексея открываются, и он видит на брачном пиру в Кане старца Зосиму, который зовёт его на пир, поздравляя с тем, что Алексей сегодня сам вступил на путь Христов: «Начинай, милый, начинай, кроткий, дело своё!» [14; 327]. Алексей поднялся и сделал ко гробу Зосимы «три твёрдых скорых шага» [14; 327] – встал на путь служения Святой Троице, после чего простился с усопшим и вышел в мир.

И здесь Достоевский создаёт *духовный пейзаж* – картину, изображающую онтологическое единство души человека и окружающего мира: «Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звёзд. С зенита до горизонта двоился ещё неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звёздною... Алёша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю» [14; 328]. Всем существом своим он почувствовал и осознал, что любит этот мир, эту землю, и обнял её: «Он не знал, для чего обнимал её, он не давал себе отчёта, почему ему так неудержимо хотелось целовать её, целовать её всю, но он целовал её плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступлённо клялся любить её, любить вовеки веков. «Облей землю слезами радости твоя

и люби сии слезы твои...» – прозвенело в душе его. О чём плакал он? О, он плакал в восторге своём даже и об этих звёздах, которые сияли ему из бездны, и «не стыдился исступления сего». Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, «соприкасаясь мирам иным». Простить хотелось ему всех и за всё и просить прощения, о! не себе, а за всех, за всё и за вся, а «за меня и другие просят», – прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твёрдое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его – и уже на всю жизнь и навеки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твёрдым на всю жизнь бойцом и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алёша во всю жизнь свою потом этой минуты. «Кто-то посетил мою душу в тот час», – говорил он потом с твёрдой верой в слова свои...» [14; 328]. Сам Господь призвал его на служение, и Алексей встал в ряды воинов Христовых, словом и делом несущих людям истину спасения.

Полагаем, что образ Алексея Карамазова выражает вариант *русской идеи*, наиболее близкий самому автору. Алексей заметно легче других братьев преодолевает искушения и восстаёт после падений. На причину этого указывают слова старца Зосимы, которыми он благословляет юношу на «великое послушание в миру»: «Много тебе ещё странствовать. И ожениться должен будешь, должен. Всё должен будешь перенести, пока вновь пребудеши. А дела много будет» [14; 71]. Речь идёт о странствиях духовных, во время которых нет ничего страшнее, чем утрата веры и доверия к Богу. Алексею предстоит «много дела» – трудов по исполнению слова Христова на пути спасения себя и других людей. И Зосима (а вместе с ним и сам Достоевский) уверен, что Алексей (Россия) не свернёт с этого пути: «В тебе не сомневаюсь, потому и посылаю тебя. С тобой Христос» [14; 71–72].

Образ **Ивана Карамазова** является прямым продолжением и максимальным развитием идеи «сильного» человека, попавшего под власть какой-либо страсти (Раскольников, Ставрогин, Версилова). Подобно им, Иван находится в рабстве гордыни и порождённой ею идеи, с «математической точностью» доказывающей право сильного, необыкновенного человека жить исключительно по своим законам, без оглядки на людей и Бога. Как и его предшественники, Иван объективно выделяется среди других людей, которые считают его необыкновенным: «Иван – могила», «Иван – загадка», «Иван – сфинкс» [15; 32] и пр. Окружающие уверены, что Иван обладает неким особым знанием о мире и стоит на пороге великих свершений. Они ждут их, подобно тому, как Соня ждёт их от Раскольникова, Шатов – от Ставрогина, а Подросток – от Версилова. «Необыкновенность» придаёт герою ореол таинственности, и окружающие пытаются разгадать её, строя различные предположения. Дмитрий говорит об Иване: «Я думаю, он масон» [15; 32], – а ещё раньше это предположение высказал Алексей [14; 239]. Однако первым тему масонства затронул сам Иван: «Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь в роде этой же тайны в основе их и что потому католики так и ненавидят масонов, что видят в них конкурентов, раздробление единства идеи, тогда как должно быть едино стадо и один пастырь...» [14; 239]. Действительно, политической целью мистического антихристианского ордена является построение «всемирного масонского государства», что прямо противоречит мечтам Римского престола о мировом господстве.

Братья лишь предполагают причастность Ивана к «вольным каменщикам», строя свои догадки на основе сопоставления различных высказываний Ивана с собственными представлениями о масонстве. Но Иван почерпнул свои идеи не из котла масонской «премудрости», а лишь использовал те же ингредиенты, что и масоны: богоотрицание, утверждение всемогущества человеческого разума и воли. Формой для «идеи» Ивана послужили фрагменты европейских философских учений, действительно в той или иной степени связанных с масонством, что и заметили Дмитрий и Алексей.

Создав свою «теорию», Иван так же, как и Раскольников, логикой убедил себя в её непогрешимости. И хотя разум героя верует в свою безупречность, сердце подсказывает ему его неправоту, и поэтому он медлит в практическом осуществлении своей «теории», словно ожидая некоего дополнительного толчка, «колеблясь над бездной» [30, 1; 23]. Это почувствовал старец Зосима: «Идея эта ещё не решена в вашем сердце и мучает его. Но и мученик любит иногда забавляться своим отчаянием, как бы тоже от отчаяния. Пока с отчаяния и вы забавляетесь – и журнальными статьями, и светскими спорами, сами не веруя своей диалектике и с болью сердца усмехаясь ей про себя... В вас этот вопрос не решён, и в этом ваше великое горе, ибо настоятельно требует разрешения...» [14; 65]. Зосима указывает на смертельную опасность неправильного решения: «Дай вам Бог, чтобы решение сердца вашего постигло вас ещё на земле» [14; 66], напоминая тем самым, что покаяние за гробом невозможно. Он благословляет Ивана на правильное решение, и тот искренне принимает благословение [14; 66].

Заметим, что из всех окружающих только Зосима увидел всю глубину той бездны, на краю которой оказался Иван. К этому моменту им уже были созданы две «поэмы»: «Великий инквизитор» и «Геологический переворот», содержание которых состоит в сознательном отвержении Бога и присвоении «необыкновенным» человеком права самому определять свою судьбу и судьбу тех, кто слабее его. В кратком и практическом варианте «теория» Ивана звучит так: «Злодейство не только должно быть дозволено, но даже признано самым необходимым и самым умным выходом из положения всякого безбожника!» [14; 65]. Эту идею Дмитрий и Смердяков принимают как руководство к действию без всяких «теоретических» отягощений: «Всё, дескать, <...> позволено, что ни есть в мире, и ничего впредь не должно быть запрещено...» [15; 126].

В конце концов Иван делает роковой шаг. Его грехопадение произошло, как только он пожелал смерти отцу и брату: «Один гад съест другую гадину» [14; 129]<sup>285</sup>. Заметим, что Иван *действительно* ненавидит их и желает их смерти. Точнее, он хочет, чтобы ни *такого* отца, ни *такого* брата у него не было вовсе. В их образе он видит недопустимое искажение собственного представления о человеке – оба бездарно и бесполезно растрачивают данное им (и вовсе не по заслугам!) богатство. Примечательно, что и Дмитрий и Фёдор Павлович инстинктивно чувствуют опасность, исходящую от Ивана. Дмитрий просто старается держаться подальше («Иван – могила»), а Фёдор Павлович прямо говорит Алексею: «Алёша, милый, *единственный* (курсив наш. – О. С.) сын мой, я Ивана боюсь; я Ивана больше, чем того (Дмитрия. – О. С.), боюсь. Я только тебя одного не боюсь» [14; 130]. Его слова вдруг обнаруживают главную причину происходящего: «Да я Ивана не признаю совсем. Откуда такой появился? Не наша совсем душа. <...> Иван никого не любит, Иван не наш человек, эти люди, как Иван, это <...> не наши люди, это пыль поднявшаяся... Подует ветер, и пыль пройдёт...» [14; 159]. Между тем окружающие подчёркивают особое духовное родство отца и сына. По словам Смердякова, «если есть <...> который из сыновей более похожий на Фёдора Павловича по характеру, так это он, Иван Фёдорович!» [15; 127]. В свою очередь, прокурор характеризует Ивана как одного «из современных молодых людей с блестящим образованием, с умом довольно сильным, уже ни во что, однако, не верующим, многое, слишком уже многое в жизни отвергшим и похерившим, точь-в#точь как и родитель его» [15; 126]. Эта духовная связь обозначена в романе понятием «карамазовщина», выражающим особое стремление к наслаждению (сладострастие), для удовлетворения которого человек противопоставляет закон своего «я» закону человеческому и Божьему.

<sup>285</sup> Согласно учению Православной церкви, любая заповедь, в т. ч. и «Не убивай» (Исх. 20:13), считается нарушенной с момента её преступления в сознании человека. При этом не имеет значения, совершено ли убийство на самом деле, или оно так и осталось пожеланием.



Духовное пространство личности Ивана раскрывает его диалог с Алексеем [14; 208–241], являющийся, по существу, монологом, потому что реплики Алексея лишь выделяют его смысловые части. Внешне он выстроен в форме исповеди: «Не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что всё, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования – а я всё-таки захочу жить и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю!» [14; 209]. Оказывается, что жизнь Ивана подчинена не какому-либо возвышенному идеалу, а лишь карамазовской жажде жизни – «исступлённой и, может быть, неприличной» в своей страстности и безудержности: «Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике» [14; 209]. В этом Иван подобен своему отцу, который готов наслаждаться жизнью во что бы то ни стало и вопреки всему: «Я хочу и ещё лет двадцать на линии мужчины состоять...» [14; 157]. И хотя Иван говорит, что отец «стал на сладострастии своём и тоже будто на камне... Хотя после тридцати-то лет, правда, и не на чём, пожалуй, стать, кроме как на этом» [14; 210], он понимает, что жить, непрерывно ублажая собственные страсти, возможно лишь постоянно «себя надувая» [14; 211]. И поэтому Иван решает: «К тридцати годам наверно брошу кубок, хоть и не допью всего и отойду... не знаю куда» [14; 209].

Но всё же в «жажде» Ивана нет того *плотского* сладострастия, которое буквально сочится из каждой клеточки Фёдора Павловича. Источник его наслаждения – эстетический: «Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз <...> не знаешь за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а всё-таки по старой памяти чтить его сердцем» [14; 209–210]. Иван вдруг говорит, что хочет поехать в Европу: «Знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, – в то же время убеждённый всем сердцем моим, что всё это давно уже кладбище, и никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими. Собственным умилением упыюсь. Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь...» [14; 210]. Оказывается, что последнее, что ещё дорого Ивану, отвергающему порядок Божественного мироустройства, – это руины европейской цивилизации. И хотя он называет свое чувство любовью, оно является лишь скрытым эгоизмом, потому что по-настоящему Иван любит лишь себя и свои переживания: «Я <...> буду счастлив пролитыми слезами *моими*. *Собственным* умилением упыюсь. <...> Первые *свои* молодые силы люблю (курсив наш. – О. С.)» [14; 210]. Как и Версиров, Иван будет посещать это «кладбище» своей души до тех пор, пока будет испытывать чувство горькой, но всё же очень приятной тоски по чему-то «утраченному» и «священному», а потом поищет чего-нибудь другого.

Помимо эстетического гедонизма Ивана привязывает к жизни и нечто совершенно особое – своего рода духовный эксперимент, который до него уже проделывали Ставрогин и Версиров, – «игра с дьяволом» [17; 273]. В слепоте гордыни им *показалось*, что они могут помериться силами уже не с Богом (Которого они отвергли и Которого, следовательно, теперь нет), а с сатаной. Но если Версиров, по замечанию Г. Я. Галаган, «в «игре с дьяволом» <...> терпит поражение, которое предвидит»<sup>286</sup>, то Иван не понимает всей опасности своего положения. Ещё в «Преступлении и наказании» Достоевский заметил, что для того, «чтоб

<sup>286</sup> Галаган Г. Я. Комментарий к Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского в 30 томах. – Л.: Наука, 1976. –Т. 17. – С. 274.

умно поступать – одного ума мало» [6; 180]. И теперь Фёдор Павлович говорит, что «Иван хвастун, да и никакой у него такой учёности нет... да и особенного образования тоже нет никакого, молчит да усмехается на тебя молча, – вот на чём только и выезжает» [14; 158].

Лишь старец Зосима и Алексей почувствовали всю трагичность происходящего, ибо, пожелав смерти ближним своим, Иван уже нарушил закон Божий (Исх. 20:13). Но спасение и возрождение к жизни возможно для любого грешника, если он действительно желает этого спасения. Алексей старается помочь брату и указывает на основание, с которого может начаться его последующее возрождение к жизни: «Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена: ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй половине, и ты спасён» [14; 210]. Но беда в том, что Иван вовсе не считает себя погибающим: «Уж ты и спасаешь, да я и не погибал, может быть!» [14; 210]. Он лжёт – и брату, и самому себе. Гордыня мешает Ивану признать поражение в схватке с сатаной и принять помощь близких. Но главная его ложь – это желание убедить самого себя в невинности в смерти отца. Для этого Иван даже обращается к окружающим: «Кто же убийца, по-вашему...». И Алексей отвечает брату, указывая на истинного виновника происшедшего: «Ты сам знаешь кто... Ты сам знаешь кто... <...> Убил отца *не ты*» [15; 39–40]. Достоевский так же выделяет последнее слово, как и в том месте «Легенды» Ивана, где говорится о сатане: «Мы давно уже не с Тобою, а с *ним*...» [14; 234]. Уже тогда Алексей понял, в какую беду попал его брат: «И ты вместе с ним...» [14; 239].

Заметим, что окружающие часто называют Алексея «ангелом» и «херувимом», указывая тем самым на его призвание – быть вестником Божьей воли<sup>287</sup>. Об этом говорят и слова Зосимы: «Ступай и поспеши. Около братьев будь. Да не около одного, а около обоих» [14; 72]. Бог посылает ангелов к людям, находящимся на пороге гибели, предупреждая их об опасности и предлагая помощь, но оставляет за ними право принять её или отвергнуть. Алексей обращается к брату: ««Ты говорил это себе много раз, когда оставался один в эти страшные два месяца», – по-прежнему тихо и отдельно продолжал Алёша. Но говорил он уже как бы вне себя, как бы не своею волей, повинуюсь какому-то непреодолимому велению. – «Ты обвинял себя и признавался себе, что убийца никто как ты. Но убил не ты, ты ошибаешься, не ты убийца, слышишь меня, не ты! Меня Бог послал тебе это сказать»» [15; 40]. Действительно, раб, исполняющий волю своего господина, не несёт ответственности за совершённое. А Иван уже давно находится в рабстве у сатаны, что и является его главной «тайной»: «Ты был у меня! – скрежещущим шёпотом проговорил он (Алексею. – О. С.). – Ты был у меня ночью, когда он приходил... Признавайся... ты его видел, видел? <...> Разве ты знаешь, что он ко мне ходит? Как ты узнал, говори! <...> Нет, ты знаешь... иначе как же бы ты... не может быть, чтобы ты не знал...» [15; 40]. Словно не замечая беснования брата, Алексей продолжает исполнять волю Божию: «Я тебе на всю жизнь это слово сказал: *не ты!* Слышишь, на всю жизнь. И это Бог положил мне на душу тебе это сказать, хотя бы ты с сего часа навсегда возненавидел меня...» [15; 40]. И действительно, сейчас Алексей подвергается большой опасности, потому что отвечает ему устами Ивана уже сам сатана: «Алексей Фёдорович <...>, я пророков и эпилептиков не терплю; посланников Божиих особенно, вы это слишком знаете. С сей минуты я с вами разрываю и, кажется, навсегда. Прошу сей же час, на этом же перекрёстке, меня оставить. <...> Особенно поберегитесь заходить ко мне сегодня! Слышите?» [15; 40–41].

Положение Ивана – самое трагичное из всех братьев. Зло настолько заполнило его душу, что стало её неотъемлемой частью. Как всякое живое существо, Иван нуждается в спасении, но прежде он должен осознать всю опасность своего положения. Он инстинктивно ищет «зеркало», в котором мог бы увидеть собственную душу. Но Дмитрия он не любит,

<sup>287</sup> др.#греч. #γγελος, – «вестник, посланец».

потому что тот является его прямой противоположностью – совершенно не ценит разум, а подчиняется лишь голосу сердца. А Алексея он перестал любить после того, как не смог поколебать в нём веру и соблазнить мечтой о власти над «дрожащей тварью». И к тому же, чтобы говорить с ними, надо смирить свою гордость и стать «на равных», а этого Иван не может, и потому идёт к Смердякову. В слепоте гордыни Иван относится к нему почти как к вещи или животному («Передовое мясо...» [14; 122]), искренне не допуская мысли, что Смердяков может и думать, и чувствовать, и желать как всякий другой человек. Поэтому он использует его как «зеркало», не опасаясь ни осуждения, ни насмешки, которые можно принять лишь от равного себе человека.

Иван понимает, что «если б убил не Дмитрий, а Смердяков, то, конечно, я тогда с ним солидарен, ибо я подбивал его. Подбивал ли я его – ещё не знаю. Но если только он убил, а не Дмитрий, то, конечно, убийца и я» [15; 54]. И, чтобы разобраться в этом, он приходит к Смердякову, который, думая, что Иван «кривляется» по барской привычке, подыгрывает ему и уверяет в виновности Дмитрия. И пока Ивану этого достаточно: «Главное, он чувствовал, что действительно был успокоен, и именно тем обстоятельством, что виновен не Смердяков, а брат его Митя, хотя, казалось бы, должно было выйти напротив. Почему так было – он не хотел тогда разбирать, даже чувствовал отвращение копаться в своих ощущениях. Ему поскорее хотелось как бы что-то забыть» [15; 47]. Но живая совесть не дает человеку совсем забыть о совершённом злодеянии. Поэтому через некоторое время Иван снова идёт к Смердякову, и тот снова на время успокаивает его. Вместе с тем встречи со Смердяковым подняли из глубины души Ивана именно те полумысли и полочувства, от которых он больше всего хотел избавиться.

Иван чувствует, что ему не удастся избежать *окончательного* разговора со Смердяковым, и так боится этого, что готов на новое преступление: «Надо убить Смердякова!.. Если я не смею теперь убить Смердякова, то не стоит и жить!..» [15; 54]. Однако на умышленное, сознательное преступление Иван всё же не способен [15; 68]. К тому же он понимает, что дело не столько в Смердякове, сколько в Дмитрие, которого он ненавидел «с каждым днём всё больше и больше...» [15; 56]. Причина этой ненависти в том, что Дмитрий, молча и вовсе не желая того, уже своим присутствием обличал брата в убийстве отца. И, чтобы избавиться от этой «воплощённой совести», Иван за тридцать тысяч рублей устраивает брату побег. Но всё же «он был страшно грустен и смущён: ему вдруг начало чувствоваться, что он хочет побега не для того только, чтобы пожертвовать на это тридцать тысяч и заживить царапину, а и почему-то другому. «Потому ли, что в душе и я такой же убийца?» – спросил было он себя. Что-то отдалённое, но жгучее язвило его душу. Главное же, во весь этот месяц страшно страдала его гордость...» [15; 56]. Между тем побег брата был крайне необходим Ивану, потому что освобождал Катерину Ивановну от обязательств по отношению к Дмитрию, доказывал его виновность и вообще навсегда удалял с глаз и его, и Грушеньку. Поэтому Иван изо всех сил заставляет Дмитрия согласиться на «план бегства, – план, очевидно, ещё задолго задуманный» [15; 56].

Понимая, что первая встреча со Смердяковым оставила без ответов какие-то важные вопросы, Иван отправляется к нему, предчувствуя развязку: «Я убью его, может быть, в этот раз...» [15; 57]. Иван действительно близок к преступлению, которое представляется ему *хоть каким-нибудь* выходом из сложившейся ситуации. Достоевский раскрывает состояние его внутреннего мира *духовным пейзажем*: «Ещё на полпути поднялся острый, сухой ветер, такой же как был в этот день рано утром, и посыпал мелкий, густой, сухой снег. Он падал на землю, не приликая к ней, ветер крутил его, и вскоре поднялась совершенная метель. В той части города, где жил Смердяков, у нас почти и нет фонарей. Иван Фёдорович шагал во мраке, не замечая метели, инстинктивно разбирая дорогу. У него болела голова и мучительно стучало в висках. В кистях рук, он чувствовал это, были судороги» [15; 57]. К своему

преступлению Иван идёт путём Дмитрия – так ударяет случайно оказавшегося на пути человека, что тот без чувств падает в снег. Ясно сознавая последствия совершённого поступка («Замёрзнет!»), Иван продолжает свой путь.

Его встречает «взгляд Смердякова, решительно злобный, неприветливый и даже надменный: «Чего, дескать, шляешься, обо всём ведь тогда сговорились, зачем же опять пришёл?»» [15; 50]. Смердяков считал, что все вопросы между ними уже решены раз и навсегда: он получил свои три тысячи, а Иван – свои шестьдесят тысяч, причитающиеся ему после смерти отца, и теперь у каждого свой путь. Поэтому Смердяков воспринимает нежелание Ивана признать своё участие в преступлении как слабость и намеренно нарушает этикет: грубит Ивану, «позволяет» ему снять пальто и по-хозяйски третирует. При этом глаза его «злобно сверкают», а «в голосе его даже послышалось нечто твёрдое и настойчивое, злобное и нагло-вызывающее. Дерзко уставился он в Ивана Фёдоровича...» [15; 51]. Совершённое убийство дало Смердякову право ненавидеть и презирать Ивана как слабого и трусливого болтуна, не способного на поступок: «Чтоб убить – это вы сами ни за что не могли-с...» [15; 52]. Он уверен, что у Ивана не хватит смелости и на то, чтобы огласить правду об убийстве отца: «Слишком стыдно вам будет-с, если на себя во всём признаетесь», а потому и «ничего не посмеете, прежний смелый человек-с!» [15; 68].

Чувствуя себя хозяином положения, Смердяков решает высказать всё до конца: «Хочу вам в сей вечер это в глаза доказать, что главный убийца во всём здесь единый вы-с, а я только самый не главный, хоть это и я убил. А вы самый законный убийца и есть!», потому что «всё же вы виновны во всём-с, ибо про убийство вы знали-с и мне убить поручили-с, а сами, всё знавши, уехали» [15; 63]. И далее он указывает на черты личности Ивана, которые тот прежде скрывал даже от самого себя: «Умны вы очень-с. Деньги любите <...>, почёт тоже любите, потому что очень горды, прелесть женскую чрезмерно любите, а пуще всего в покойном довольстве жить и чтобы никому не кланяться – это пуще всего-с. Не захотите вы жизнь навеки испортить, такой стыд на суде приняв. Вы как Фёдор Павлович, наиболее-с, изо всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с» [15; 68].

Слова Смердякова сдирают с совести Ивана пластыри рациональных аргументов, которыми он прикрыл её раны, и скоро он начинает чувствовать очистительную силу страдания: «Говори же, пожалуйста, говори! <...> Прощу» [15; 61]. Поэтому Иван не лжёт, когда говорит Смердякову: «Бог видит, – поднял Иван руку кверху, – может быть, и я был виновен, может быть, действительно я имел тайное желание, чтоб... умер отец, но, клянусь тебе, я не столь был виновен, как ты думаешь, и, может быть, не подбивал тебя вовсе. Нет, нет, не подбивал!» [15; 66–67]. Иван действительно не имел намерения превращать Смердякова в орудие своего тайного желания, он лишь высказал при нём мысль о праве «сильного» человека жить по своему закону. Он передал Смердякову свою жажду беззакония, и тот сразу почувствовал, как «жажда эта меня всего захватила, ажно дух занялся» [15; 64].

Достоевский усиливает психологический фон действия: «Иван всё время слушал» Смердякова «в мертвенном молчании...» [15; 65]. В нём начинает умирать человек, основу жизни которого составляли гордость, тщеславие и эгоизм. Иван чувствует это и изо всех сил делает рывок к новой жизни – твёрдо заявляет Смердякову, что завтра на суде признается в убийстве отца. И сразу же «какая-то словно радость сошла теперь в его душу. Он почувствовал в себе какую-то бесконечную твёрдость: конец колебаниям его, столь ужасно его мучившим всё последнее время! Решение было взято, «и уже не изменится», – со счастьем подумал он» [15; 68].

Иван *навсегда* покидает Смердякова и возвращается домой, по пути поднимая из снега сбитого им с ног пьяного мужичка, лежащего без чувств: «Иван вдруг схватил его и потащил на себе» [15; 69]. Повторяя подвиг смиренного самарянина (Лк. 10:30–35), он пристраивает мужичка в полицейской части, жертвуя на его содержание и медицинскую помощь

три рубля. Смерть осталась позади. Впереди – тяжкий путь искупительного страдания. Но для того, чтобы идти им, мало одного *своего* желания. Необходима вера, соединяющая человека с Богом и дающая силы для новых шагов по пути спасения. Но у Ивана такой веры нет, поэтому все его силы ушли на первый шаг и сделать второй – немедленно сообщить обо всём прокурору – он уже не смог.

Православная аскетика знает, что когда грешник становится на путь спасения, все силы ада ополчаются на него, надеясь столкнуть во мрак греха и смерти. Это и произошло с Иваном. Он ушёл от Смердякова, но ему некуда пойти, *своего* дома у Ивана нет<sup>288</sup>.

Он живёт в доме отца, давно ставшем преддверием ада. И потому, когда Иван «вступил в свою комнату, что-то ледяное прикоснулось вдруг к его сердцу, как будто воспоминание, вернее, напоминание о чём-то мучительном и отвратительном, находящемся именно в этой комнате теперь, сейчас, да и прежде бывшем» [15; 69]. Ивану явился сам сатана с тем, чтобы заставить его отказаться от публичного покаяния и столкнуть с пути спасения. Сердце Ивана уже узнало возможность живой жизни и устремилось к ней, но дьявол пытается поколебать уверенность Ивана в правоте выбранного пути: «И добро бы ты <...> в добродетель верил... Но ведь ты поросёнок, как Фёдор Павлович, и что тебе добродетель? Для чего же ты туда потащишься, если жертва твоя ни к чему не послужит? А потому что ты сам не знаешь, для чего идёшь! О, ты бы много дал, чтоб узнать самому, для чего идёшь! И будто ты решился? Ты ещё не решился. Ты всю ночь будешь сидеть и решать: идти или нет? Но ты всё-таки пойдёшь и знаешь, что пойдёшь, сам знаешь, что как бы ты ни решался, а решение уж не от тебя зависит. Пойдёшь, потому что не смеешь не пойти» [15; 88].

Дьявол пытается сыграть на самолюбии Ивана, вновь разбудить в нём гордость и подтолкнуть к бунту против Бога, а когда это не удаётся, начинает исподволь подсовывать ему мысль о самоубийстве: «Но колебания, но беспокойство, но борьба веры и неверия – это ведь такая иногда мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься» [5; 80]. Он знает, что совесть – последнее, что может помочь Ивану спастись, и потому пытается перерезать эту нить, соединяющую человека с Богом, говоря, что совесть – часть человека, и потому он вполне может отказаться от неё, как от старой ненужной привычки: «Отвыкнем и будем боги» [15; 87]<sup>289</sup>.

Наконец, дьявол обращается к последнему средству. Он напоминает о том, что Иван уже сделал против Бога, намекая на то, что ему не удастся получить прощение. Сначала дьявол говорит о сочинённой Иваном поэме «Великий инквизитор», а затем пересказывает его другое сочинение под названием «Геологический переворот», о котором до этого момента ничего не было известно. В нём говорится о том, что рано или поздно в человечестве совершенно исчезнет вера в Бога. И наступление этой эпохи, по мысли Ивана, так же неизбежно и закономерно, как «геологический переворот». Оставшись без Бога, «человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеко-бог» [15; 83]. А так как неизвестно, когда именно это произойдёт, «то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему «всё позволено». Мало того: если даже период этот и никогда не наступит, но так как Бога и бессмертия всё-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и, уж конечно, в новом чине, с лёгким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится» [15; 84].

Сатана вновь поворачивает душу Ивана к тому, от чего он недавно с таким трудом отрёкся. И когда противостоять ему уже нет сил, Господь посылает на помощь Ивану брата

<sup>288</sup> Для Алексея таким вторым домом стал монастырь.

<sup>289</sup> Эти слова воспроизводят сцену первого искушения дьяволом человека: «И сказал змей <...>: вы будете, как боги...» (Быт. 3:4–5).

Алексея с вестью о самоубийстве Смердякова. О том, что Иван был в этот момент на самом краю гибели, говорит картина, нарисованная Достоевским. Услышав стук, Иван «хотел было кинуться к окну (в которое стучит Алексей. – О. С.); но что-то как бы вдруг связало ему ноги и руки. Изо всех сил он напрягался как бы порвать свои путы, но тщетно. Стук в окно усиливался всё больше и громче. Наконец вдруг порвались путы...» [15; 84]. Внезапно Иван понимает, что именно произошло: «Он тебя испугался, тебя, голубя. Ты «чистый херувим»» [15; 85]<sup>290</sup>.

Посланник Бога отогнал врага рода человеческого, но борьба за душу Ивана ещё не окончена, и Алексей остаётся ночевать рядом с братом. Засыпая, он «помолился о Мите и об Иване. Ему становилась понятною болезнь Ивана: «Муки гордого решения, глубокая совесть!» Бог, которому он не верил, и правда Его одолевали сердце, всё еще не хотевшее подчиниться. «Да, – неслось в голове Алёши, уже лежавшей на подушке, – да, коль Смердяков умер, то показанию Ивана никто уже не поверит; но он пойдёт и покажет!» – Алёша тихо улыбнулся: «Бог победит!» – подумал он. – «Или восстанет в свете правды, или... погибнет в ненависти, мстя себе и всем за то, что послужил тому, во что не верит», – горько прибавил Алёша и опять помолился за Ивана» [15; 89].

К несчастью, дьявол был прав: тяжесть греха Ивана была велика, а времени на покаяние и обретение веры не осталось. Надеясь лишь на себя и не имея благодатной помощи Свыше, Иван проиграл битву с дьяволом. Поэтому когда на следующий день он пришёл на суд, это был суд Дмитрия, а приговор его, Ивана: «Было в этом лице что-то как бы тронутое землёй, что-то похожее на лицо помиравшего человека. Глаза были мутны; он поднял их и медленно обвёл ими залу» [15; 115]. Достоевский показывает человека, оказавшегося один на один с силами зла и побеждённого ими. И хотя Иван всё же публично признался в преступлении, сломить свою гордость и освободиться от *не-доверия* к Богу он так и не смог. Поэтому вместо смиренного покаяния начинается новый бунт: Смердяков ««убил отца, <...> а я его научил убить... Кто не желает смерти отца? <...> И все эти... р-рожи! <...> Убили отца, а притворяются, что испугались», – проскрежетал он с яростным презрением» [15; 117].

Покаяние может быть очистительным и спасительным лишь когда соединяется со смирением перед волей Божией: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6). Дьявол долго вскармливал и укреплял гордыню в душе Ивана, пока она не подчинилась себе и его разум, и волю, и чувства. Сломать клетку гордыни и тем вырваться из власти дьявола своими силами Иван уже не может. Последняя попытка освободиться лишь обнаружила то, что он себе не принадлежит: когда беснование стало очевидным и его «схватили, <...> он завопил неистовым воплем. И всё время, пока его уносили, он вопил и выкрикивал что-то несвязное» [15; 118].

Болезнь духа обратилась на душу и тело, как это было с Раскольниковым, со Ставрогиним и с Версиловым. Но итог болезни Ивана не столь очевиден, как у его предшественников по *великому пятикнижию*. Автор лишь намекает, что Ивана ждёт какая-то новая жизнь, но «это всё могло бы послужить канвой уже иного рассказа, другого романа, который и не знаю, предприму ли ещё когда-нибудь» [14; 48]. Принимая во внимание общее направление православного гуманизма Достоевского, можно предположить, что Ивана ждёт судьба Раскольникова, о которой говорится в эпилоге «Преступления и наказания»: «Эта новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерож-

<sup>290</sup> Эта сцена является аллюзией к Откровению св. Иоанна Богослова, в котором Господь говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).

дения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новой, доселе совершенно неведомой действительностью» [6; 422]<sup>291</sup>.

Образ **Дмитрия Карамазова**, по словам прокурора Ипполита Кирилловича, «в противоположность «европеизму» и «народным началам» братьев своих (выражаемых Иваном и Алексеем. – О. С.), <...> как бы изображает собою Россию непосредственную – о, не всю, не всю, и Боже сохрани, если бы всю! <...> О, мы непосредственны, мы зло и добро в удивительнейшем смешении, мы любители просвещения и Шиллера и в то же время мы бушем по трактирам... О, и мы бываем хороши и прекрасны, но только тогда, когда нам самим хорошо и прекрасно. Напротив, мы даже обуреваемы <...> благороднейшими идеалами, но только с тем условием, чтоб они достигались сами собою, упали бы к нам на стол с неба и, главное, чтобы даром, даром, чтобы за них ничего не платить. Платить мы ужасно не любим, зато получать очень любим, и это во всё. О, дайте, дайте нам всевозможные блага жизни (именно всевозможные, дешевле не помиримся) и особенно не препятствуйте нашему нраву ни в чём, и тогда и мы докажем, что можем быть хороши и прекрасны. Мы не жадны, нет, но, однако же, подавайте нам денег, больше, больше, как можно больше денег, и вы увидите, как великодушно, с каким презрением к презренному металлу мы разбрасываем их в одну ночь в безудержном кутеже. А не дадут нам денег, так мы покажем, как мы их сумеем достать, когда нам очень того захочется» [15; 128].

Духовный мир Дмитрия раскрывается в его диалоге с Алексеем, названном автором «Исповедь горячего сердца» [14; 93–106]. Основную черту этого мира образует предельная актуализация карамазовского сладострастия – жажды наслаждения жизнью. Сладострастие двигало многими поступками и других героев *великого пятикнижия* (например, Ставрогина и Версилова), но у Дмитрия чувство неизъяснимого и ненасытимого блаженства рождается от соприкосновения с красотой: «Это – бури, потому что сладострастие буря, больше бури! Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. <...> Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Ещё страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. <...> Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? <...> В содоме-то она и сидит для огромного большинства людей... Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» [14; 100].

Исход этой битвы зависит от того, на чьей стороне сам человек. Дмитрию, как Ивану и многим другим «сильным» героям Достоевского, казалось, что они могут справиться с любой жизненной ситуацией, опираясь лишь на свои силы и руководствуясь не столько каким-либо внешним (Божественным или человеческим) законом, сколько собственной совестью. Это могло бы быть так, если бы человек действительно рождался совершенным, как полагали европейские «гуманисты». Хотя и в этом случае совесть нуждалась бы в постоянной коррекции по какому-то эталону, так как под воздействием внешних обстоятельств «совершенная» природа человека неизбежно бы деформировалась. Этим идеям европейского гуманизма Достоевский противопоставляет православную антропологию, согласно которой первоначальная богоданная природа человека была повреждена *первым*, а затем *родовым* и *личным* грехом. В результате совесть утратила связь со своим источником –

<sup>291</sup> О правомерности подобного предположения говорит и идея третьего романа *великого пятикнижия*: «Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть» [29, 1; 145].

Богом, стала ошибаться и допускать преступления: «Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного» [27; 56].

Иван и Дмитрий по-разному не верят в Бога, но одинаково *не доверяют* Ему. Не принимая Божественного мироустройства, они пытаются жить по собственному нравственному закону. Иван создаёт его на основе теории «высших» и «низших» людей и вытекающем из неё праве «высших» на мировое господство, а Дмитрий выстраивает свой «закон» из субъективных представлений о добре, зле, чести и т. п. Заметим, что история человечества знает немало подобных попыток нравственного обособления личности<sup>292</sup>. Их опыт свидетельствует о том, что, сколь бы логически непогрешимо автономная мораль ни выглядела в теории, она мгновенно разваливается при столкновении с реальной жизнью. Именно это и происходит с Дмитрием. Его представления о мире со временем настолько разошлись с общепринятыми, что окружающие почти перестали понимать его [14; 443–444], что и породило острейший конфликт: «Да я оттого и свирепствовал в этот месяц, оттого и дрался в трактире, оттого и отца избил...» [14; 444].

О Боге и Его законе Дмитрий знает: «Слава Высшему на свете, Слава Высшему во мне!..» [14; 96]. Долгое время одного сознания того, что где-то внутри (или снаружи) есть нечто Высшее, ему было достаточно, и он жил, подчиняясь своим желаниям и надеясь, что всё устроится как-нибудь само собой: «Я иду и не знаю: в вонь ли я попал и позор или в свет и радость» [14; 99]. Инстинктивное, не освещённое разумом чувство Бога живёт в его душе, поражённой страстью: «Если уж полечу в бездну, то так-таки прямо, головой вниз и вверх пятаями, и даже доволен, что именно в унижительном таком положении падаю и считаю это для себя красотой. И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чёртом, но я всё-таки и Твой сын, Господи, и люблю Тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть» [14; 99].

Совесть Дмитрия заблудилась и довела его до преступления закона Божия, о котором Священное Писание говорит: «Всякий грех и хула простятся человеку, а хула на Духа не простится...» (Мф. 12:31). Такой хулой православие считает сознательное упорное противление Богу преступлением или неисполнением Его воли. Это преступление и стало причиной падения Дмитрия: «Любил разврат, любил и срам разврата. Любил жестокость: разве я не клоп, не злое насекомое? Сказано – Карамазов!» [14; 100]. Он рассказывает Алексею об одном из своих бесчестных поступков, подчёркивая особое *нравственное* наслаждение от страданий жертвы: «Видел, как следили за мной из угла залы <...> её глазки, видел, как горели огоньком – огоньком кроткого негодования. Забавляла эта игра только мое сладострастие насекомого, которое я в себе кормил» [14; 101]. Искажённый грехом разум помогает искать оправдания сделанной подлости, опираясь на ту самую «автономную мораль»: «Я хоть и низок желаниями и низость люблю, но я не бесчестен» [14; 101]. Однако преступления продолжались, и Дмитрий с ужасом чувствовал, как «жестокое насекомое уже росло, уже разрасталось в душе» [14; 101].

В конце концов наступает момент, когда Дмитрий уже *не хочет* остановить своё падение, потому что оно становится источником нового, особого наслаждения: «Я духом пьян <...>, духом пьян...» [14; 362]. Но и это состояние духовного помрачения скоро приедается, и сладострастие требует новой, более острой и горячей пищи. Поэтому даже чувствуя приближающуюся гибель, Дмитрий не может остановиться: «Завтра лечу с облаков, потому что завтра жизнь кончится и начнётся. Испытывал ты, видал ты во сне, как в яму с горы падают? Ну, так я теперь не во сне лечу» [14; 97]<sup>293</sup>.

<sup>292</sup> Например, в учении Б. Спинозы и И. Канта.

<sup>293</sup> В этом Дмитрий идёт путём Ставрогина («Бесы»).



Если бы Дмитрий действительно верил в Бога, то на какое-то время, даже поддавшись страсти, он мог бы с Его помощью удержаться на краю бездны. Но в своём религиозном чувстве герой ищет лишь душевного успокоения, а вовсе не желает понести труда духовного преображения. Поэтому он, подобно Раскольникову, Ставрогину и Версилкову, подменяет волю Бога собственной и даже пытается ставить Ему условия: «Я чуду верю. <...> Чуду промысла Божьего. Богу известно моё сердце, он видит всё моё отчаяние. Он всю эту картину видит. Неужели он попустит совершиться ужасу?» [14; 112]. Бог действительно промышляет (т. е. предусматривает и создаёт) путь человека ко спасению в каждый миг его жизни, и для того, чтобы узнать его, человеку необходимо с верой и покаянием обратиться к Богу. Но Дмитрий ждёт лишь «чуда» – исполнения своего желания, и готов, если оно не произойдёт, поступить по собственному усмотрению. Поэтому он угрожает Богу не только послушанием (даже не сознавая, что уже давно нарушил Его закон), но и совершением страшного преступления – отцеубийства: «Если не свершится, то...» [14; 112]. Так открывается подлинная глубина падения героя – он настолько подчинился своей страсти, что для удовлетворения её готов восстать не только на родного отца, но и на Бога.

Поражённый грехом разум слеп, и Дмитрию *лишь кажется*, что он ещё может управлять собой: «Я полный хозяин остановить, могу остановить или совершить!..» [14; 144]<sup>294</sup>. Если бы он *действительно* мог удержаться от последнего шага в бездну, то непременно сделал бы это, однако он уже не властен над собой: «Ну так знай же, что я его совершу, а не остановлю» [14; 144]. Приняв это решение, Дмитрий разрывает последние связи с миром: «Не молись обо мне, не стою, да и не нужно совсем, совсем не нужно... не нуждаюсь вовсе! Прочь!..» [14; 144]. Дмитрию кажется, что этим бунтом он «борется со своей судьбой и спасает себя» [14; 329]. Как всякий гордый и сильный человек, он надеется лишь на свои силы, не понимая того, что бороться с судьбой, то есть противопоставлять себя воле Божией, губительно для человека. Не случайно Достоевский словами Зосимы напоминает событие библейской истории, повествующее о том, «как Иаков <...> боролся во сне с Господом» [14; 266]. Борьба с Богом бессмысленна и опасна, потому что человек не может повредить Богу, и всякое его зло неизбежно обращается на него. В итоге борьба с судьбой превращается в борьбу с образом Божиим в самом себе.

Многие герои *великого пятикнижия* оказываются в положении Дмитрия, и писатель подчёркивает, что причиной этого является сам человек: «Гнусный омут, в котором он завяз *сам своей волей* (курсив наш. – О. С.), слишком тяготил его...» [14; 330]. Теперь, чтобы выбраться из него, необходимо приложить немалые усилия, потому что Бог не спасает человека без воли самого человека и не принуждает его ко спасению, а ждёт первого шага: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему...» (Откр. 3:20). Дмитрий же надеется лишь на свои силы и мечтает, как увезёт Грушеньку «как можно дальше, если не на край света, то куда-нибудь на край России, женится там на ней и поселится с ней *incognito*<sup>295</sup>, так чтоб уж никто не знал об них вовсе, ни здесь, ни там и нигде. Тогда <...> начнётся тотчас же совсем новая жизнь! Об этой другой, обновлённой и уже «добродетельной» жизни («непременно, непременно добродетельной») он мечтал поминутно и испуганно. Он жаждал этого воскресения и обновления», потому что, «как и очень многие в таких случаях, всего более верил в перемену места: только бы не эти люди, только бы не эти обстоятельства, только бы улететь из этого проклятого места и – всё возродится, пойдёт по-новому! Вот во что он верил и по чём томился» [14; 330].

Очень скоро этот путь откроется Дмитрию в плане побега, подготовленного Иваном. Однако Достоевский на примере «таинственного посетителя» старца Зосимы показывает,

<sup>294</sup> В таком же заблуждении находятся Раскольников и Ставрогин.

<sup>295</sup> Тайно (*лат.*)

что само по себе изменение внешних обстоятельств и даже добродетельная жизнь без покаянного очищения души лишь отягощает груз прежних грехов и приводит в очередной тупик. Любая попытка выбраться из него своими силами, без помощи Божией, будет безрезультатна. Поэтому, когда Дмитрий наконец осознал тщетность своих попыток раздобыть денег, «глубокая тоска облегла, как тяжёлый туман, его душу. Глубокая, страшная тоска! Он сидел, думал, но обдумать ничего не мог» [14; 340]. Для иллюстрации духовного состояния своего героя писатель создаёт *духовный пейзаж*: после бессмысленно потраченной ночи рядом с неменяемым Лягавым Дмитрий вышел из избы, чтобы идти домой, и «увидал, что кругом только лес и ничего больше. Он пошёл наугад, даже не помня, куда поворотить из избы – направо или налево <...>. Он шагал по узенькой лесной дорожке бессмысленно, потерянно, с «потерянной идеей» и совсем не заботясь о том, куда идёт. Его мог побороть встречный ребёнок, до того он вдруг обессилел душой и телом» [14; 342]. Наконец «кое-как он, однако, из лесу выбрался: предстали вдруг сжатые обнажённые поля на необозримом пространстве. «Какое отчаяние, какая смерть кругом!» – повторял он, всё шагая вперёд и вперёд» [14; 342]. Как и в случае со Степаном Трофимовичем («Бесы»), «его спасли проезжие: извозчик вёз по просёлку какого-то старичка купца. Когда поровнялись, Митя спросил про дорогу...» [14; 342].

Однако герой «Бесов» сознательно отрекается от прошлой жизни в поисках новой, а Дмитрий ещё не готов к этому. Господь даёт ему возможность вернуться в исходную точку и найти верный путь. Для этого Дмитрию необходимо разумом осветить свой путь и усилием воли подвигнуть себя на него. Но сделать это Дмитрий не может, потому что его разум и воля находятся во власти страстей гордыни и сластолюбия. Его духовное состояние Достоевский подчёркивает названием главы, рассказывающей о преступлении Дмитрия, – «В темноте». По-прежнему единственным, что удерживало его в жизни и придавало ей какой-то смысл, была мысль о Грушеньке, уже переросшая из пламенной страсти в мучительную *idée fixe*, отказаться от которой он и не мог и не хотел. Страсть лишила его свободы, поработила разум и чувства, высвободив «естественное», природное начало. И Достоевский показывает, что оно вовсе не так прекрасно и невинно, как полагали европейские просветители: окружающие обозначают природу Дмитрия эпитетами «дикий человек» [14; 369] и даже «зверь» [14; 398].

Важно, что и сам он понимает своё духовное состояние: «Низкий сладострастник и с неудержимыми чувствами подлое существо <...>. Удержаться не мог, как животное» [14; 110], «зверь и до зверства не умеющий сдерживать себя человек» [14; 443]. Именно этот «зверь» заставил его броситься на поиски Грушеньки, вложил в руку пестик и подвёл к окну отца, но лишь воля Господа остановила его на последней черте. Правда, осознание этого придёт много позже: «Слёзы ли чьи, мать ли моя умолила Бога, дух ли светлый облобызал меня в то мгновение – не знаю, но чёрт был побеждён» [14; 425–426]. Однако Дмитрий уже совершил преступление против Бога в тот миг, когда присвоил себе право распоряжаться чужой жизнью: «Зачем живёт такой человек!» [14; 69]. И потому удар, предназначавшийся родному отцу, обрушился на голову старика Григория. Дмитрий был уверен, что убил его, и потому сам выносит себе смертный приговор, чтобы остановить дальнейшее падение: «Тут один забор <...>, один высокий забор и страшный на вид, но... завтра на рассвете, когда «взлетит солнце», Митенька через этот забор перескочит... <...>. Не помешаю и устранюсь, сумею устраниться» [14; 358]. Он лишь хочет проститься с единственным человеком, которого любит, чувствуя, что «в любви его к этой женщине заключалось нечто гораздо высшее, чем он сам предполагал, а не одна лишь страстность, не один лишь «изгиб тела»...» [14; 344]. В духовном мраке, в который погрузился Дмитрий, совершив преступление, лишь образ Грушеньки представлялся ему каким-то светом. Но он понимал, что, став убийцей, никогда не сможет быть рядом с ней. И, пожалуй, впервые в Дмитрий испытывает не просто страст-

ное влечение: «И никогда ещё не подымалось из груди его столько любви к этой роковой в судьбе его женщине, столько нового, не испытанного им ещё никогда чувства, чувства неожиданного даже для него самого, чувства нежного до моления, до исчезновения пред ней» [14; 370].

Этот момент становится первым этапом возрождения героя к новой жизни. Он начинается с осознания собственной греховности и продолжается искренним покаянием: «Жизнь люблю, слишком уж жизнь полубил, так слишком, что и мерзко. <...> Я подл, но доволен собой. И, однако ж, я мучусь тем, что я подл, но доволен собой. Благословляю творение, сейчас готов Бога благословить и Его творение, но... надо истребить одно смрадное насекомое, чтобы не ползало, другим жизни не портило...» [14; 366]<sup>296</sup>. Однако, уже приняв окончательное решение, Дмитрий чувствует, что не может уйти из жизни просто так: «Несмотря на всю принятую решимость, было смутно в душе его, смутно до страдания: не дала и решимость спокойствия. Слишком многое стояло сзади его и мучило. И странно было ему это мгновениями: ведь уж написан был им самим себе приговор пером на бумаге: «Казню себя и наказую»; и бумажка лежала тут, в кармане его, приготовленная; ведь уж заряжен пистолет, ведь уж решил же он, как встретит он завтра первый горячий луч «Феба златокудрого», а между тем с прежним, со всем стоявшим сзади и мучившим его, всё-таки нельзя было расчитаться, чувствовал он это до мучения, и мысль о том впивалась в его душу отчаянием» [14; 370].

Дмитрий ищет причину происходящего: «Не любил я никогда всего этого беспорядка. <...> Порядку во мне нет, высшего порядка... <...>. Вся жизнь моя была беспорядок, и надо положить порядок» [14; 366]. Этот приговор самому себе высвобождает душу героя из тисков тщеславия и самолюбия, и впервые в жизни он чувствует потребность в прощении и покаянии. Дмитрий с раскаянием вспоминает об обиде, причинённой им Снегирёву [14; 366], а затем «вдруг <...> тихо и кротко, как тихий и ласковый ребёнок, заговорил с Феней... «Обидел я тебя давеча, так прости меня и помилуй, прости подлеца...»» [14; 357, 368]. Прощаясь с прежней жизнью и отправляясь в последний путь, Дмитрий хочет примириться со всем миром и самим собой и обращается к ямщику с самым главным вопросом: «Говори, попадёт Дмитрий Фёдорович Карамазов во ад али нет, как по-твоему?» [14; 372]. Дмитрий знает, что по делам своим достоин высшей кары. Но ему важно услышать, что есть кто-то, кто его пожалеет и простит: «А ты, ты простишь меня, Андрей? <...> За всех, за всех ты один, вот теперь, сейчас, здесь, на дороге, простишь меня за всех?» [14; 372].

В образе ямщика с именем первоверховного апостола для Дмитрия воплотился весь русский народ. И Андрей отвечает ему: «Не знаю, голубчик, от вас зависит, потому вы у нас (курсив здесь и далее наш. – О. С.)... Вы у нас, сударь, всё одно как малый ребёнок... так мы вас почитаем... И хоть гневливы вы, сударь, это есть, но за простодушие ваше простит Господь» [14; 372]. Дмитрий принял это прощение и «исступлённо молился и дико шептал про себя: «Господи, прими меня во всё моём беззаконии, но не суди меня. Пропусти мимо без суда Твоего... Не суди, потому что я сам осудил себя; не суди, потому что люблю Тебя, Господи! Мерзок сам, а люблю Тебя: во ад пошлешь, и там любить буду и оттуда буду кричать, что люблю Тебя во веки веков...»» [14; 372]. В своём сердце Дмитрий нашёл необходимые средства ко спасению: любовь к Богу и к человеку. Теперь ему нужно лишь преодолеть свой главный недостаток, на который указал Андрей, – страстность, застилающую глаза, ослепляющую разум и толкающую на преступление.

Новое мучение овладело Дмитрием, когда он понял, что Грушенька отвечает на его любовь. Самоубийство утратило смысл, потому что впереди открылась новая, светлая дорога. Но память о лежащем в отцовском саду Григории не даёт вступить на неё. Тогда Дмитрий обращается с молитвой к Тому, в чьих руках находится жизнь и счастье чело-

<sup>296</sup> Этот выбор подобен выбору «великодушного» Кириллова («Бесы»), убивающего себя ради любви к людям.

века: «Боже, оживи поверженного у забора! Пронеси эту страшную чашу мимо меня! Ведь делал же ты чудеса, Господи, для таких же грешников, как и я! Ну что, ну что, если старик жив? О, тогда срам остального позора я уничтожу, я ворочу украденные деньги, я отдам их, достану из-под земли...» [14; 394].

Вторым этапом духовного перерождения становится допрос Дмитрия по обвинению в убийстве отца. Писатель делит сцену допроса на главы с характерными названиями: «Хожение души по мытарствам. Мытарство первое», «Мытарство второе» и «Мытарство третье». Под мытарством христианство понимает «обличение грехов, истязание душ в загробном мире, после оставления ими тела, ещё до суда Божия»<sup>297</sup>. При этом каждое из мытарств «соответствует одному из грехов: за каждый совершённый грех человек должен дать ответ демонам-истязателям, и пока он не докажет свою невиновность, он не допускается к следующему мытарству»<sup>298</sup>.

Известие о том, что Григорий жив, подействовало на Дмитрия преображающе: ««Жив? Так он жив! <...> Господи, благодарю Тебя за величайшее чудо, содеянное Тобойю мне, грешному и злодею, по молитве моей!..» <...>, – и он три раза перекрестился» [4; 413]. Дмитрий сознаёт свою вину: «Про себя внутри, в глубине сердца своего виновен...» [14; 415], но теперь он знает главное – Бог есть. И потому «взгляд его был бодр, он весь как бы изменился в одно мгновение. Изменился и весь тон его: это сидел уже опять равный всем этим людям человек <...>, как если бы <...> ещё ничего не случилось...» [14; 414]<sup>299</sup>.

В ходе мытарств обнаруживается духовная основа жизни Дмитрия: «С вами говорит <...> человек, наделавший бездну подлостей, но всегда бывший и остававшийся благороднейшим существом <...> внутри, в глубине... Именно тем-то и мучился всю жизнь, что жаждал благородства, был <...> страдальцем благородства и искателем его <...>, а между тем всю жизнь делал одни только пакости...» [14; 416]. Это произошло потому, что он искал источник *блага* не у Творца всего сущего, а в человеческом мире и собственной душе, захваченной страстями. И в итоге оказался в тупике, который создал собственными руками. Ад начался для Дмитрия уже на земле и задолго до того, как он разрешил себе пролить кровь отца. Чувствуя глубокую неправду своей жизни и истязаясь невозможностью изменить её, герой решает *просто* освободиться от жизни: «Ведь всё равно, подумал, умирать, подлецом или благородным» [14; 444]. Но «много я узнал в эту ночь! Узнал я, что не только жить подлецом невозможно, но и умирать подлецом невозможно... Нет, господа, умирать надо честно!..» [14; 445].

В душе Дмитрия происходят болезненные, но животворные изменения. В том, что они происходят в течение короткого времени, нет ничего удивительного. Достоевский писал об этом процессе: «Иные перерождаются слишком скоро и заметно, другие незаметно» [11; 168]. Дмитрий уже давно жаждал Высшего духовного порядка, но ему не хватало лишь последнего толчка, которым и стал арест: «Господа, все мы жестоки, все мы изверги, все плакать заставляем людей, матерей и грудных детей, но из всех – пусть уж так будет решено теперь – из всех я самый подлый гад! Пусть! Каждый день моей жизни я, бия себя в грудь, обещал исправиться и каждый день творил всё те же пакости. Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтоб захватить его как в аркан и скрутить внешнею силой. Никогда, никогда не поднялся бы я сам собой! Но гром грянул. Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего, пострадать хочу и страданием очищусь!» [14; 458].

<sup>297</sup> Полный православный богословский энциклопедический словарь: В 2 томах. – М.: 1992. – Т. 2. – С. 1607.

<sup>298</sup> Иларион (Алфеев), епископ. Православие: В 2 томах. Изд-во Сретенского монастыря, – М... 2008. – Т. 1. – С. 740.

<sup>299</sup> Заметим, что подобного не могло быть с Раскольниковым, который действительно был убийца и испытывал чувство оторванности от мира всю жизнь, даже и после покаяния и наказания.

Дмитрий жаждал чуда, и Господь явил ему его – послал страдания (мытарства) именно в тот момент, когда он смог принять их как заслуженное наказание. Лишённый свободы, впервые в жизни Дмитрий испытывал настолько жестокое страдание от чувства бессилия и невозможности жить по собственному произволению, что скоро приобрёл «какой-то удивительно измученный вид» [14; 449]. В это время в его душе идёт интенсивная работа по духовному преображению: старые убеждения и представления рушатся и отваливаются, как куски ветхой штукатурки. Символом очистительного страдания здесь (так же, как в «Преступлении и наказании» и «Бесах») является дождь, который «лил как из ведра, <...>, так и сёк в маленькие зеленоватые стёкла окошек» [14; 449]<sup>300</sup>.

Это омовение очистило душу Дмитрия от остатков прежней жизни, уврачевало тяжкие раны, нанесенные совершёнными прежде грехами, и впервые за долгое время дало ей мир. Напряжение последних дней исчезло, и он «чувствовал, что едва сидит, а по временам так все предметы начинали как бы ходить и вертеться у него пред глазами» и даже внешне «имел какой-то даже удивительно измученный вид» [14; 449]. Достоевский подчёркивает, что эта усталость имеет не совсем обычную природу: «Всё какое-то *странное* (курсив наш. – О. С.) физическое бессилие одолевало его чем дальше, тем больше. Глаза его закрывались от усталости» [14; 456]. Так Господь даёт страдальцу отдохновение и посылает сон, открывающий ему смысл жизни.

Дмитрий оказывается в мире, где перед ним уже прошёл некто, купивший себе вечное блаженство ценой страданий невинного ребёнка. И теперь ему предстоит «сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё, не плакала бы и чёрная иссохшая мать дити, чтоб не было вовсе слёз от сей минуты ни у кого и чтобы сейчас же, сейчас же это сделать, не отлагая и несмотря ни на что, со всем безудержем карамазовским» [14; 457]. Но этот безудерж не принесёт теперь страдания другим людям, как это было прежде, потому что из сердца Дмитрия ушла жестокость и злоба, уступив место всепобеждающей любви: «Чувствует он ещё, что подымается в сердце его какое-то никогда ещё небывалое в нём умиление, что плакать ему хочется...» [14; 456–457]. Он понимает, что прощён теми, кому причинил страдание, но сам себе он его простить не может, и потому готов встать на борьбу за всех униженных и оскорблённых, движимый любовью к ним: «И вот загорелось всё сердце его и устремилось к какому-то свету, и хочется ему жить и жить, идти и идти в какой-то путь, к новому зовущему свету, и скорее, скорее, теперь же, сейчас!» [14; 457]. Он пробудился ото сна «светло улыбаясь, с каким-то новым, словно радостью озарённым лицом» [14; 457].

Первое и главное усилие, которое должен сделать человек, стремящийся жить живой жизнью, – осознать собственную греховность, второе – искренне раскаяться в ней, и третье – постараться исправиться к лучшему. Когда человек встаёт на этот путь, Господь шагает к нему навстречу и подаёт все необходимые к спасению средства. Нарушение любого закона (в том числе и духовного) неизбежно влечет страдание<sup>301</sup>. И Господь помогает Дмитрию принять его как заслуженное наказание и попросить прощения у мира за принесенное в него зло, является необходимым условием вступления в новую жизнь: «Прощаюсь с вами, с людьми прощусь!...»; «Прости, Груша, меня за любовь мою, за то, что любовью моею и тебя сгубил! <...> Прощайте, Божьи люди!» [14; 458, 460]. Теперь старый человек должен навсегда умереть в Мёртвом Доме, чтобы к жизни воскрес новый, чистый и честный.

Подобно Раскольникову, Дмитрий разрешил себе «кровь по совести» («Зачем живёт такой человек!»), но Господь уберёт его от злодеяния: «Бог <...> сторожил меня тогда» [14; 355]. И всё же падение, пусть и не столь тяжкое, состоялось и ужаснуло Дмитрия. Лишь

<sup>300</sup> Подобные процессы происходят и в душе Грушеньки, у которой «начинался тогда лёгкий лихорадочный озноб – начало длинной болезни, которую она потом с этой ночи перенесла» [14; 453].

<sup>301</sup> Об этом говорит Раскольникову Порфирий Петрович: «Что ж, страданье тоже дело хорошее. Пострадайте. <...> Потому страданье, <...> великая вещь; <...> в страдании есть идея» [6; 351–352].

оказавшись на самом дне социальной жизни, он понял, какой путь ему предстоит пройти, чтобы вновь вернуться к людям: «Здесь уж *ты* начинают говорить. Сторожа мне *ты* говорят. Я лежал и сегодня всю ночь судил себя: не готов! Не в силах принять! Хотел «гимн» запеть, а сторожевого тыканья не могу осилить!» [15; 185]. Дмитрий ясно увидел многие ошибки своей жизни и Свет, к которому надо идти, чтобы впредь их не совершать: «Я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключён во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно! И что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать, не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно теперь: чтобы не отошёл от меня воскресший человек! Можно найти и там, в рудниках, под землёю, рядом с собой, в таком же каторжном и убийце человеческое сердце и сойтись с ним, потому что и там можно жить, и любить, и страдать! Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить наконец из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя! А их ведь много, их сотни, и все мы за них виноваты!» [15; 30–31]. Дмитрию вдруг открывается воля Божия, обращённая непосредственно к нему: «Зачем мне тогда приснилось «дитё» в такую минуту? «Отчего бедно дитё?» Это пророчество мне было в ту минуту! За «дитё» и пойду. Потому что все за всех виноваты. За всех «дитё», потому что есть малые дети и большие дети. Все – «дитё». За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти» [15; 31]. По вере Дмитрию открывается его судьба, о чём он говорит Алексею: «О да, мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а Богу быть, ибо Бог даёт радость, это Его привилегия, великая... Господи, истай человек в молитве! Как я буду там под землёй без Бога? Врёт Ракитин: если Бога с земли изгонят, мы под землёй Его сретим! Каторжному без Бога быть невозможно, невозможнее даже, чем некаторжному! И тогда мы, подземные человеки, запоём из недр земли трагический гимн Богу, у Которого радость! Да здравствует Бог и Его радость! Люблю Его! <...> Нет, жизнь полна, жизнь есть и под землёю! <...> Ты не поверишь, Алексей, как я теперь жить хочу, какая жажда существовать и сознавать именно в этих облезлых стенах во мне зародилась! <...> Да и что такое страдание? Не боюсь его, хотя бы оно было бесчисленно. Теперь не боюсь, прежде боялся. <...> И, кажется, столько во мне этой силы теперь, что я всё поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук – я есмь, в пытке корчусь – но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце, – это уже вся жизнь...» [15; 31].

Едва Дмитрий встал на путь спасения, как сразу все силы зла ополчились на него, пытаюсь столкнуть обратно, в смерть: «Я <...> вижу иногда во сне один сон... один такой сон, и он мне часто снится, повторяется, что кто-то за мной гонится, кто-то такой, которого я ужасно боюсь, гонится в темноте, ночью, ищет меня, а я прячусь куда-нибудь от него за дверь или за шкаф, прячусь униженно, а главное, что ему отлично известно, куда я от него спрятался, но что он будто бы нарочно притворяется, что не знает, где я сижу, чтобы дольше промучить меня, чтобы страхом моим насладиться...» [14; 424]. Путём жестоких ошибок и страданий Дмитрий получил бесценный духовный опыт, радикально изменивший его жизнь. Он узнал силу молитвы, которая является единственным средством соединения человека с Богом, и теперь не просто «привычно» верит в Бога, а знает, что Бог – есть: «Ведь спас же меня ангел-хранитель мой...» [14; 428]. Духовные очи Дмитрия открылись, и теперь он видит многое из того, чего не замечал раньше: «Отца чёрт убил! <...> О, это чёрт сделал, чёрт отца и убил...» [14; 429, 431]<sup>302</sup>.

<sup>302</sup> Такие же слова в аналогичной ситуации произносит другой «великий грешник» – Раскольников: «А старушонку эту чёрт убил, а не я...» [6; 322]. Действительно, он и Дмитрий стали слепыми орудиями в руках сил зла после того, как оба

Вера в Бога даёт Дмитрию силы для борьбы со злом внутри себя, но всё же их пока недостаточно для полной победы. Поэтому он обращается за помощью к брату: «Алёша, херувим ты мой, меня убивают разные философии, чёрт их дери!..» [15; 31]. Дмитрий имеет в виду усилия Ивана и Ракитина, направленные против его решения «принять страдание». Они оба, каждый по-своему, стараются вернуть грешника к тому, от чего он с таким трудом отрёкся: «Видишь, я прежде этих всех сомнений никаких не имел, но всё во мне это таилось. Именно, может, оттого, что идеи бушевали во мне неизвестные, я и пьянствовал, и дрался, и бесился. Чтоб утолить в себе их, дрался, чтоб их усмирить, сдавить» [15; 31]. И бесы достигают своей цели – рождают сомнения в душе несчастного: «А меня Бог мучит. Одно только это и мучит. А что, как Его нет? Что, если прав Ракитин, что это идея искусственная в человечестве? Тогда, если Его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолечно! Только как он будет добродетелен без Бога-то? Вопрос! Я всё про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоёт?» [15; 32].

Заметим, что зло использует разные средства: Ракитин пытается столкнуть Дмитрия с его пути логикой примитивного бытового позитивизма и эгоизма, а Иван создаёт впечатление некой великой тайны: «У Ивана Бога нет. У него идея. Не в моих размерах. Но он молчит. Я думаю, он масон. Я его спрашивал – молчит. В роднике у него хотел водицы испить – молчит» [15; 32]. Дмитрий не знает, что у Ивана и Великого инквизитора – одна тайна на двоих. Но как бы ни выглядела эта тайна внешне, её практическое воплощение ничем не отличается от того, к чему ведёт Ракитин. Иван однажды сказал: «Фёдор Павлович <...>, папенька наш, был поросёнок, но мыслил он правильно», и Дмитрий поражён: «Это уж почище Ракитина» [15; 32].

Наибольшее давление Дмитрий испытывает со стороны Ивана, который искушает его так же, как до этого – Алексея. Иван предлагает Дмитрию побег, стоимость которого открыто символична – тридцать тысяч рублей. В его «поэме» Христос предаёт Себя и уходит из мира, и Ивану очень хотелось бы, чтобы так произошло и в жизни. Побег Дмитрия означал бы не только его признание в убийстве отца, но и отказ от спасения. И Дмитрий это понимает: с деньгами, Грушенькой, на свободе, но без Родины и без мира в душе, потому что «а <...> совесть-то? От страдания ведь убежал! Было указание – отверг указание, был путь очищения – поворотил налево кругом. <...> От распятия убежал!» [15; 34]. Ярким символом гибельности этого пути выступает его конечная цель – Америка. Напомним, что в поэтике Достоевского этот топоним означает конец жизненного пути, смерть<sup>303</sup>.

Дмитрий говорит, что весь план побега «выдумал» сам Иван и теперь «настаивает!» на нём, «страшно настаивает. Не просит, а велит», и даже «в послушании не сомневается... <...> До истерики хочет» [15; 35]. Побег Дмитрия необходим Ивану как последняя возможность доказать собственную невиновность. Он снова заставил себя поверить в ложь, но она постоянно нуждается хоть в каком-нибудь правдоподобии, которое и мог придать ей побег Дмитрия. Поэтому Иван запрещает брату говорить кому-либо о плане побега и особенно Алексею: «Никому, а главное, тебе: тебе ни за что! Боится, верно, что ты как совесть предо мной станешь» [15; 35]. И действительно, «новый человек», родившийся в Дмитрие, нуждается в помощи: «Обними меня поскорей, поцелуй, перекрести меня, голубчик, перекрести на завтрашний крест...» [15; 35]. Усилия бесов не прошли даром, вера Дмитрия в избранный путь пошатнулась – он остановил уходившего Алексея и потребовал сказать, считает ли тот его убийцей. Алексей ответил отрицательно, и «блаженство озарило мгновенно всё лицо

преступили закон Божественного мироустройства.

<sup>303</sup> Так, ещё в «Преступлении и наказании» Свидригайлов прощается с жизнью словами: «Поехал, дескать, в Америку!» [6; 394].

Мити. – «Спасибо тебе! <...> Теперь ты меня возродил... <...> Укрепил ты меня на завтра, благослови тебя Бог!» [15; 36].

День суда стал третьим этапом духовного перерождения Дмитрия. Автор замечает, что «он как будто что-то пережил в этот день на всю жизнь, научившее и вразумившее его чему-то очень важному, чего он прежде не понимал» [15; 175]. Об этом говорит «последнее слово» Дмитрия на суде: «Суд мой пришёл, слышу десницу Божию на себе. Конец беспутному человеку! Но как Богу исповедуясь, и вам говорю: «В крови отца моего – нет, не виновен!» В последний раз повторяю: «Не я убил!» Беспутен был, но добро любил. Каждый миг стремился исправиться, а жил дикому зверю подобен» [15; 175]. Теперь Дмитрий не просто уверовал в Бога, а смирился перед Ним («слышу десницу...»), признав свою прошлую жизнь неправильной. Имея в себе образ Божий («добро любил»), он жил безо всякой цели и смысла («был беспутен»). Осознав это, Дмитрий просит *всех людей* о милосердии и прощении: «Коли пощадите, коль отпустите – помолюсь за вас. Лучшим стану, слово даю, перед Богом его даю. А коль осудите – сам сломаю над головой моей шпагу, а сломав, поцелую обломки! Но пощадите, не лишите меня Бога моего, знаю себя: возропщу! Тяжело душе моей... пощадите!» [15; 178]. В ожидании решения присяжных публика обсуждает происшедшее и находит истинного виновника: «Эх ведь чёрт! – Да чёрт-то чёрт, без чёрта не обошлось, где ж ему и быть, как не тут» [15; 177].

В просьбе Дмитрия о пощаде слышится прежний Митенька – надеющийся на то, что всё происходящее исчезнет, как сон. Подобно Раскольникову, «он даже и не знал того, что новая жизнь не даром же ему достаётся, что её надо ещё дорого купить, заплатить за неё великим, будущим подвигом...» [6; 421]. Время от вынесения приговора до каторги становится следующим этапом духовного перерождения героя. Автор подчёркивает изменения, происходящие в нём: ««Клянусь Богом и Страшным судом Его, в крови отца моего не виновен! Катя, прощаю тебе! Братья, друзья, пощадите другую!»». Он не договорил и зарыдал на всю залу, в голос, страшно, каким-то не своим, а *новым, неожиданным каким-то голосом, который Бог знает откуда вдруг у него явился* (курсив наш. – О. С.)» [15; 178]. Эти изменения шли постепенно, и «многое совершилось с того дня» с Дмитрием [15; 182]. Он наконец увидел главную причину всего случившегося – собственную гордыню – и теперь просит у Господа смирения перед предстоящими испытаниями: «Боже, Господи, смири меня» [15; 187]. Смирение – это способность человека быть в мире с самим собой, с людьми и с Богом. Мир посылается Богом как награда за долгий труд по очищению души от скверны и победы над самим собой: «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать» (Иак. 4:6). Поэтому Достоевский записывает в черновике: «Смирение – величайшая сила» [15; 244].

Благодатная помощь Божия крайне необходима Дмитрию, потому что не побеждённая до конца гордость может вновь открыть душу для греха: «Если бить станут дорогой, аль там, то я не дамся, я убью, и меня расстреляют. И это двадцать ведь лет! <...> За Грушу бы всё перенес, всё... кроме, впрочем, побой...» [15; 185]. Колебания ещё не окрепшей души Дмитрия пытаются использовать бесы: «Порывался уже два раза увидеться с ним Ракитин; но Митя настойчиво просил <...> не впускать того» [15; 183].

Однако Ракитин – чужой человек, а вот рядом «орудуют» свои, родные. Иван, научаемый сатаной, начал готовить побег, его дело продолжила Катерина Ивановна, пытаясь втянуть в него и Алексея. Она воздействует на его сознание своей красотой, искренностью и даже своим несчастьем. И Алексей, оставшийся без помощи учителя, начинает колебаться, – он не склоняет брата к побегу, как того хочет Катерина Ивановна, но и не отговаривает от него: «Слушай, брат, раз навсегда <...>, вот тебе мои мысли на этот счёт. И ведь ты знаешь, что я не солгу тебе. Слушай же: ты не готов, и не для тебя такой крест. Мало того: и не нужен тебе, не готовому, такой великомученический крест. Если бы ты убил отца, я бы сожалел, что ты отвергаешь свой крест. Но ты невинен, и такого креста слишком для тебя



много. Ты хотел мукой возродить в себе другого человека; по-моему, помни только всегда, во всю жизнь и куда бы ты ни убежал, об этом другом человеке – и вот с тебя и довольно. То, что ты не принял большой крестной муки, послужит только к тому, что ты ощутишь в себе ещё больший долг и этим непрерывным ощущением впредь, во всю жизнь, поможешь своему возрождению, может быть, более, чем если б пошёл *туда*. Потому что там ты не перенесёшь и возропщешь <...>. Не всем бремена тяжкие, для иных они невозможны...» [15; 185].

Назвав эту главу «На минутку ложь стала правдой», Достоевский дал ключ ко всему сказанному в ней. Алексей «на минутку» забыл, что Господь не даёт человеку креста не по его силам и что всякий, кто несёт его смиренно и твёрдо, получает от Него благодатную помощь. Сердцем Алексей чувствует глубокую неправду своих слов, сказанных брату, но разум легко подыскивает оправдания: «Если бы за побег твой остались в ответе другие: офицеры, солдаты, то я бы тебе «не позволил» бежать <...>. Но говорят и уверяют <...> что отделаться можно пустяками. Конечно, подкупать нечестно даже и в таком случае, но тут уже я судить ни за что не возьмусь, потому, собственно, что если б мне, например, Иван и Катя поручили в этом деле для тебя орудовать, то я, знаю это, пошёл бы и подкупил; это я должен тебе всю правду сказать. А потому я тебе не судья в том, как ты сам поступишь. Но знай, что и тебя не осужу никогда» [15; 185]. Однако страдание уже сделало Дмитрия мудрым: ««Но зато я себя осужу! <...> Я убегу, это и без тебя решено было: Митька Карамазов разве может не убежать? Но зато себя осужу и там буду замаливать грех во веки! Ведь этак иезуиты говорят, этак? Вот как мы теперь с тобой, а? – Этак», – тихо улыбнулся Алёша» [15; 186].

Дмитрий *знает* главное – побег означает «другую каторгу, не хуже, может быть, этой!» [15; 186]. И если он сейчас не в силах вынести «эту», то неизбежно погибнет на «той». Но тогда вместе с ним погибнет и Грушенька: «Ну американка ль она? Она русская, вся до косточки русская, она по матери родной земле затоскует, и я буду видеть каждый час, что это она для меня тоскует, для меня такой крест взяла, а чем она виновата?» [15; 186]. Главное же, что в новой каторге не будет того, что есть в этой: «Я эту Америку, чёрт её дери, уже теперь ненавижу. <...> Ненавижу я эту Америку уж теперь! И хоть будь они там все до единого машинисты необъятные какие али что – чёрт с ними, не мои они люди, не моей души! Россию люблю <...>, русского Бога люблю, хоть я сам и подлец! Да я там издохну!» [15; 186].

Очевидно, что судьбами братьев Карамазовых Достоевский показывает различные пути будущей России. Алексей и Иван символизируют крайние варианты: естественной укоренённости в народном духе противостоит нигилизм Ивана. Подобные типы и были и есть в русском обществе, но его основную массу представляет образ Дмитрия, соединяющий в себе черты обеих крайностей. Полагаем, Достоевский понимал, что этот путь наиболее вероятен для России, хотя он всё же желал бы для неё пути Алексея – более прямого и ясного<sup>304</sup>.

Образ **Павла Фёдоровича Смердякова** отличается от всех других героев своей неотмирностью. Он – словно пришелец из какой-то иной реальности, лишь на время и случайно оказавшийся в этой. Смердяков настолько отличается от других людей, что даже его приёмный отец, старик Григорий, замечает: «Ты разве человек <...>, ты не человек, ты из банной мокроты завёлся, вот ты кто...» [14; 114]. Говоря так, Григорий не слишком преувеличивает. Смердяков родился в бане, являющейся для русского народа традиционным обиталищем нечистой силы. Но главное – он родился от греха, на который способен далеко не всякий человек. Поэтому можно предположить, что бес вошёл в его душу уже в момент зачатия да

<sup>304</sup> Это упование писателя со всей яркостью выразилось в финале рассказа «Сон смешного человека» (1877): «А между тем так это просто: в один бы день, в один бы час – всё бы сразу устроилось! Главное – люби других как себя, вот что главное, и это всё, больше ровно ничего не надо: тотчас найдёшь как устроиться...» [25; 119].

так и остался в ней. И Смердяков жил и рос на границе двух миров – духовного и человеческого. Но, будучи порождением зла, он изначально принадлежал ему, априори отвергая мир Божий и прежде всего его основу – любовь. Раньше других это понял Григорий, сказав жене: «Не любит он нас с тобой, этот изверг <...>, да и *никого не любит* (курсив наш. – О. С.)» [14; 114]. Эта неспособность любить кого-либо действительно *извергает* Смердякова из мира обычных людей и сближает с духами зла.

Будучи максимальным развитием тёмной, бесовской части души своего родителя, он ненавидит Россию ещё сильнее его и искренне желает ей скорейшей гибели: «Я всю Россию ненавижу <...>. В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с» [14; 205]. И при этом Смердяков вовсе не идеализирует Европу: «По разврату и тамошние, и наши все похожи. Все шельмы-с, но с тем, что тамошний в лакированных сапогах ходит, а наш подлец в своей нищете смердит и ничего в этом дурного не находит. Русский народ надо пороть-с...» [14; 205].

Другой характерной чертой Смердякова является гордость. Автор замечает: «Человек ещё молодой, всего лет двадцати четырёх, он был страшно нелюдим и молчалив. Не то чтобы дик или чего-нибудь стыдился, нет, характером он был, напротив, надменен и как будто всех презирал» [14; 114]. Искренне считая себя умнее многих людей, он полагал явной несправедливостью своё подчинённое по отношению к ним положение. Поэтому Смердяков никого не уважает, не любит и даже не боится. Единственное, чего ему не хватает, чтобы почувствовать себя *вполне* человеком, – это денег: «Была бы в кармане моём такая сумма, и меня бы здесь давно не было» [14; 205]. Но деньги ему нужны только как средство для получения власти над другими людьми. Пока же, не имея её, он заражает своей злобой всех, кто заведомо слабее его. Так, он научил Илюшу Снегирёва «зверской шутке, подлой шутке – взять кусок хлеба, мякишу, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке, из таких, которые с голодухи кусок, не жуя, глотают, и посмотреть, что из этого выйдет» [14; 480]. Именно Смердяков стал причиной первого греха, глубоко поразившего душу ребёнка, когда тот осознал случившееся и «больной, в слезах, три раза <...> повторял отцу: «Это оттого я болен, папа, что я Жучку тогда убил, это меня Бог наказал!»» [14; 482].

Достоевский подчёркивает, что нечеловеческая жестокость Смердякова укоренена в его природе: «В детстве он очень любил вешать кошек и потом хоронить их с церемонией. Он надевал для этого простыню, что составляло вроде как бы ризы, и пел и махал чем-нибудь над мёртвою кошкой, как будто кадил. Всё это потихоньку, в величайшей тайне» [14; 114]. При этом он не просто убивал кошек, а вешал их, что давало ему возможность наблюдать за мучительной агонией живого существа. Всецело отдаваясь своему безотчётному желанию, Смердяков не нуждался в каких-либо санкциях совести. Вероятно, удовольствие от процесса убийства перевешивало страх возможного наказания, и было ясно, что он с ещё большим удовольствием убивал бы людей, если бы только был уверен, что не будет пойман. Поэтому он безо всяких колебаний, *легко* убивает родного отца, как только предоставляется возможность остаться безнаказанным. Позже Смердяков скажет Ивану, что если бы такой возможности не случилось, то «тогда ничего бы и не было-с...» [15; 62].

Однако Смердяков знает, что, убивая, он нарушает закон, и хочет переложить с себя хотя бы часть ответственности за преступление. Он идёт к своей цели, но боится последующего воздаяния – не от людей, а от Бога, о существовании Которого он, как всякий бес, прекрасно знает. Поэтому он стремится стать орудием чужой воли и воспринимает слова Ивана о праве безбожника на преступление как её проявление. Напомним, что хотя слова произносит Иван, принадлежат они не ему, а той силе, которая уже завладела его разумом и волей.

Силу этой власти писатель показывает характерной сценой: Иван хотел пройти мимо Смердякова, но вдруг взглянул на него «и остановился, и то, что он так вдруг остановился и не прошёл мимо, как желал того ещё минуту назад, озлило его до сотрясения» [14; 243]. Достоевский усиливает этот эффект описанием внешности Смердякова: «Левый чуть прищуренный глазок его мигал и усмехался, точно выговаривая: «Чего идёшь, не пройдёшь, видишь, что обоим нам, умным людям, переговорить есть чего»» [14; 243]. Иван затрясся от гнева: ««Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!» – полетело было с языка его, но, к величайшему его удивлению, слетело с языка совсем другое: «Что батюшка, спит или проснулся?» – тихо и смиренно проговорил он, себе самому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно, сел на скамейку. На мгновение ему стало чуть не страшно...» [14; 244]. Переменной мизансцены Достоевский показывает, кто является настоящим господином, а кто – слугой. Теперь Иван сидел, глядя на Смердякова снизу вверх, а тот «стоял против него, закинув руки за спину и глядел с уверенностью, почти строго» [14; 244]. Потрясённый происходящим, Иван попытался вырваться из плена, но едва только он «качнулся, чтобы встать», «Смердяков точно поймал мгновенье» и *так* остановил Ивана словом, что тот «тотчас же опять уселся» [14; 244]. Он понял, что получит свободу только тогда, когда исполнит то, чего от него ждёт Смердяков и его господин.

Дело в том, что сатана не может сам убить человека, но может использовать в качестве своего орудия того, кто ненавидит ближнего своего или желает ему смерти. И теперь он стоит перед Иваном в облике лакея Смердякова и требует немедленного ответа. Как только Иван понял это, «что-то как бы перекошилось и дрогнуло» в его лице, и «он вдруг покраснел» [14; 249]. Он попытался разом освободиться от дьявольской власти и «внезапно, как бы в судороге, закусил губу, сжал кулаки и – ещё мгновение, конечно, бросился бы на Смердякова. Тот по крайней мере это заметил в тот же миг, вздрогнул и отдёргнулся всем телом назад» [14; 249]. Однако сил для борьбы у Ивана нет, потому что он – такой же раб зла, как и Смердяков. Иван понял это ещё тогда, когда увидел Смердякова возле дома отца: «С первого взгляда на него понял, что и в душе его сидел лакей Смердяков...» [14; 242].

«Лакей» – это человек, продавший свою свободу в обмен на то, что показалось ему более важным. И Иван и Смердяков находятся в рабстве у одного господина, и потому «мгновение прошло для Смердякова благополучно, и Иван Фёдорович молча, но как бы в каком-то недоумении, повернул в калитку» [14; 249]. Он уходит, отдавая отца на заклятие: ««Я завтра в Москву уезжаю, если хочешь это знать, – завтра рано утром – вот и всё!» – с злобою, раздельно и громко вдруг проговорил он, сам себе потом удивляясь, каким образом понадобилось ему тогда это сказать Смердякову» [14; 249]. И сразу же Смердяков принял свой обычный вид и отступил назад, а Иван вдруг «засмеялся и быстро прошёл в калитку, продолжая смеяться. Кто взглянул бы на его лицо, тот наверно заключил бы, что засмеялся он вовсе не оттого, что было так весело. Да и сам он ни за что не объяснил бы, что было тогда с ним в ту минуту. Двигался и шёл он точно судорогой» [14; 250]. С этого момента старый дом семьи Карамазовых стал дверью в ад, открыл которую сам Иван.

Одно преступление неизбежно повлекло и другое: разрешив Смердякову убить отца, Иван стал его прямым соучастником. Всю ночь он не смыкал глаз, «вставал с дивана и тихонько, как бы страшно боясь, чтобы не подглядели за ним, отворял двери, выходил на лестницу и слушал вниз, в нижние комнаты, как шевелился и похаживал там внизу Фёдор Павлович – слушал подолгу, минут по пяти, со странным каким-то любопытством, затаив дух, и с биением сердца, а для чего он всё это проделывал, для чего слушал – конечно, и сам не знал. Этот «поступок» он всю жизнь свою потом называл «мерзким» и всю жизнь свою считал, глубоко про себя, в тайниках души своей, самым подлым поступком изо всей своей жизни» [14; 251].

В сложившейся ситуации только Иван мог остановить зло и не допустить злодеяния. Но после того, как он «придушил в себе нравственное чувство» и преступил границу закона Божия, он уже не принадлежал себе, а потому (как и Раскольников в аналогичной ситуации) лишь безвольно наблюдал за происходящим словно со стороны: «Иван Фёдорович даже усмехнулся при мысли, что так всё сошлось, что нет никакой задержки внезапному отъезду» [14; 252]. Он покидает дом отца и уж совсем против своей воли докладывает об этом Смердякову: ««Видишь... в Чермашню еду...» – как-то вдруг вырвалось у Ивана Фёдоровича, опять как вчера, так само собою слетело, да ещё с каким-то нервным смешком. Долго он это вспоминал потом» [14; 254]. Чем дальше Иван отъезжал от дома отца, тем легче и радостней ему становилось: «Прочь всё прежнее, кончено с прежним миром навеки, и чтобы не было из него ни вести, ни отзыва; в новый мир, в новые места, и без оглядки!» [14; 255]. Но совесть напомнила о цене этой свободы, и «вместо восторга на душу его сошёл вдруг такой мрак, а в сердце заняла такая скорбь, какой никогда он не ощущал прежде во всю свою жизнь» [14; 255]. Иван понял, что он только что купил собственное счастье, пусть и не «слезой невинного ребёнка», но жизнью родного отца.

Словами Фёдора Павловича автор указывает, что из всех братьев Смердяков особо ненавидит Алексея: «Он и меня терпеть не может», а «Алёшку подавно, Алёшку он презирает» [14; 122]. Это происходит потому, что Алексей живёт по законам, исполнение которых Смердяков считает неразумной слабостью. Он знает, что есть Бог и есть святые, которые «где-нибудь там в пустыне египетской в секрете спасаются...» [14; 120]. Но, искренне считая себя лучше многих людей, Смердяков разрешает себе не жить по закону Божьему, наивно полагая, что если так делают все, то и его судить не за что: «Знаю, что Царствия Небесного *в полноте* (курсив здесь и далее наш. – О. С.) не достигну (не очень-то вере моей там верят, и *не очень уж большая награда* меня на том свете ждёт)... <...>. На милость Господню весьма уповаю, питаюсь надеждой, что и совсем прощён буду-с...» [14; 121]. При этом он искренне считает возможным отречься от Христа для того, «чтобы спасти тем самым свою жизнь для добрых дел, коими в течение лет и искупить малодушие» [14; 117]. Но здесь его устами говорит сам сатана – отец лжи, потому что сознательное, волевое удовлетворение эгоистических потребностей является не малодушием, а предательством.

Исход жизни Смердякова, самоубийство, обусловлен нравственными причинами: в нём нет любви, а есть лишь злоба – разрушающая, разъедающая душу и делающая бессмысленной и невыносимой жизнь. Единственное, что придавало ей какой-либо смысл, – мечта о свободной и обеспеченной жизни, осуществление которой связывалось с Иваном, который сформулировал теоретическое средства достижения этой цели: «Злодейство не только должно быть дозволено, но даже признано самым необходимым и самым умным выходом из положения всякого безбожника!» [14; 65]. Но после того, как оказалось, что Иван не способен верить не только в Бога, но и в то, о чём сам говорил, Смердяков понял, что остался совсем один.

С утратой кумира жизнь потеряла для Смердякова всякий смысл, и он убивает себя. Напомним, что его личность возникла из соединения сатанинской злобы и гордости с ущербной и бессильной человеческой природой. И если бы эта природа была цельной, сильной и волевой, то в мире появился бы тот антихрист, о котором предупреждает Священное Писание. Но сроки ещё не исполнились. Антихрист разделится между Иваном и Смердяковым так же, как между Ставрогиным и Петром Верховенским, и мир устоял, ибо «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет» (Мф. 12, 25).

Появление в романе образа семинариста **Михаила Ракитина** связано с особым отношением Достоевского к общественному служению Церкви. По его мнению, к концу XIX века духовенство превратилось в замкнутое профессиональное сословие, почти не связанное ни с «обществом», ни с «народом». Трагический парадокс заключается в том, что разруше-

ние религиозного сознания внутри этого сословия происходило масштабнее и глубже, чем где-либо, и в результате духовные учебные заведения превращались в кузницу безбожников и революционеров.

Примером тому служит образ Ракитина, введённый в роман главой с характерным названием «Семинарист-карьерист». О том, какого рода карьера его ждёт, говорит Иван: если Ракитин «не согласится на карьеру архимандрита в весьма недалёком будущем, и не решится постричься, то непременно уедет в Петербург и примкнёт к толстому журналу, непременно к отделению критики, будет писать лет десяток и в конце концов переведёт журнал на себя. Затем будет опять его издавать и непременно в либеральном и атеистическом направлении, с социалистическим оттенком, с маленьким даже лоском социализма, но держа ухо востро, то есть, в сущности, держа нашим и вашим и отводя глаза дуракам». Конец этой карьеры Иван видит «в том, что оттенок социализма не помешает» Ракитину «откладывать на текущий счёт подписные денежки и пускать их при случае в оборот, под руководством какого-нибудь жидишки, до тех пор, пока не выстроит капитальный дом в Петербурге, с тем, чтобы перевести в него и редакцию, а в остальные этажи напустить жильцов» [14; 77]. Заметим, что слова Ивана подтвердились весьма скоро.

О личных качествах Ракитина говорит сам автор: «Он везде имел связи и везде добывал языка. Сердце он имел весьма беспокойное и завистливое. Значительные свои способности он совершенно в себе сознавал, но нервно преувеличивал их в своём самомнении. Он знал наверно, что будет в своём роде деятелем, но Алёшу, который был к нему очень привязан, мучило то, что его друг Ракитин бесчестен и решительно не сознаёт того сам, напротив, зная про себя, что он не украдёт денег со стола, окончательно считал себя человеком высшей честности. Тут уже не только Алёша, но и никто бы не мог ничего сделать» [14; 79]. Достоевский особо отмечает его умение «со всеми обойтись и каждому представиться сообразно с желанием того, если только усматривал в сем малейшую для себя выгоду» [14; 296]. Эгоизм, ради удовлетворения которого Ракитин и «в щелку пролезет» [15; 28], делает его прямым наследником Лужина («Преступление и наказание»). Для достижения своих целей Ракитин без раздумий использует любые средства, в том числе и человеческое горе: духовный срыв Алексея после смерти старца Зосимы и даже суд над Дмитрием: «Хочет он обо мне, о моем деле статью написать, и тем в литературе свою роль начать, с тем и ходит, сам объяснял» [15; 28]. Подчёркивая, что Ракитин – не исключительное явление, а особый тип: «Много их расплодилось!» [15; 28], Дмитрий повторяет слова Разумихина о Лужине: «К общему-то делу в последнее время прицепилось столько разных промышленников, и до того исказили они всё, к чему ни прикоснулись, в свой интерес, что решительно всё дело испакостили [6; 116].

Ракитин получает духовное образование по сословному принципу, как «сын попа». Соблюдая внешнее благочестие, он уже не верит в Бога: «Человечество само в себе силу найдёт, чтобы жить для добродетели, даже и не веря в бессмертие души! В любви к свободе, равенству, братству найдёт...» [14; 76]. Это замечает и Дмитрий: «А не любит Бога Ракитин, ух не любит! Это у них самое больное место у всех! Но скрывают. Лгут. Представляются» [15; 29]. Однако Ракитин не просто *сам* не верит в Бога, он распространяет безверие вокруг себя. Для этого он и собирается заняться литературной критикой, хотя понимает, что открыто пропагандировать атеизм ему не удастся. Примечательно, что в своём безбожии он очень близок Ивану. Так, на вопрос Дмитрия: «Только как же, спрашиваю, после того человек-то? Без Бога-то и без будущей жизни? Ведь это, стало быть, теперь всё позволено, всё можно делать?» – Ракитин смеётся над ним точно так же, как Иван над Алексеем: «А ты и не знал?» [15; 29].

Кроме эгоизма и тщеславия яркой чертой личности Ракитина является сладострастие, очень близкое карамазовскому: «Тут влюбится человек в какую-нибудь красоту, в тело жен-

ское, или даже только в часть одну тела женского (это сладострастник может понять), то и отдаст за неё собственных детей, продаст отца и мать, Россию и отечество; будучи честен, пойдёт и украдёт; будучи кроток – зарежет, будучи верен – изменит» [14; 74]. Дмитрий даже замечает его внешнее сходство со стариком Карамазовым: «И такая у него скверная сладострастная слюна на губах...» [15; 29]. А сам Ракитин, разговаривая с Дмитрием, почти дословно повторяет слова Смердякова, сказанные Ивану: «Умному <...> человеку всё можно, умный человек умеет раков ловить, ну а вот ты <...> убил и влопался, и в тюрьме гниёшь!» [15; 29]. И писатель ещё усиливает эту близость наблюдением Дмитрия: «Я ему сейчас вот говорил: «Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди философы, а ты хоть и учился, а не философ, ты смерд». Смеётся, злобно так» [15; 28]. Подобно Смердякову, Ракитин никого, кроме себя, не любит: «Ивана не любит, ненавидит, тебя (Алексея. – О. С.) тоже не жалуется. <...> Возносится очень, однако» [15; 28]. Карамазовы, как бы ни были изломаны своими страстями, в Бога верят, а Ракитин, по словам Дмитрия, – «свинья естественная!» [15; 29] – то есть существо, подчиняющееся собственному естеству, а не Божьему или человеческому закону.

Может показаться, что Достоевский использует образ Ракитина для пересказа событий и пояснения отношений между персонажами первого круга, освобождая тем самым повествование от «авторского» голоса. Но его главная функция – идейная. Будучи атеистом, Ракитин не верит не только в Бога, но и в дьявола, «естественно» беря на себя его роль в совращении праведников с пути истинного. Вместо того чтобы помочь Алексею, считающему его своим другом, в самую тяжкую минуту его жизни, Ракитин пытается всячески совратить его, чтобы увидеть «падение праведника». Однако Господь даже злобу человеческую обращает во благо тем, кто верит в Него. Алексей и Грушенька открыли друг в друге сокровища Христовой любви, и «Ракитин удивлялся на их восторженность и обидчиво злился, хотя и мог бы сообразить, что у обоих как раз сошлось всё, что могло потрясти их души так, как случается это нечасто в жизни. Но Ракитин, умевший весьма чувствительно понимать всё, что касалось его самого, был очень груб в понимании чувств и ощущений ближних своих – отчасти по молодой неопытности своей, а отчасти и по великому своему эгоизму» [14; 318].

После того как ему не удалось столкнуть Алексея с праведного пути, Ракитин «не любил встречаться» и «почти не говорил с ним, даже и раскланивался с натугой» [15; 26–27]. Зато он сблизился с Дмитрием, делавшим первые шаги в новой жизни и сильно нуждавшимся в любой помощи: «Я этаких прежде вон вышвыривал, ну а теперь слушаю. Много ведь и дельного говорит. Умно тоже пишет» [15; 29]. Ракитин старается всячески уверить Дмитрия в том, что он погиб безвозвратно, что пути к воскресению нет и потому бессмысленно «петь гимн Богу». С этой целью он рисует картину некоего «нового» мира, в котором уже не будет места Богу, а будут только «новые люди», и наступит новая эпоха, в которой мир будет управляться лишь «естественными» законами. И Дмитрий почти соглашается с неизбежностью этого: «Новый человек пойдёт, это-то я понимаю... <...> Химия, брат, химия! Нечего делать, ваше преподобие, подвиньтесь немножко, химия идёт!» [15; 28–29]. Но в этот момент Господь посылает ему в помощь Алексея, который укрепляет брата и благословляет его на предстоящее страдание.

Заметим, что Ракитин не просто совращает праведников, а пытается подтолкнуть их к предательству самих себя и Бога, то есть к смерти. Предательство для него – естественное состояние, но Достоевский, подбирая этому персонажу фамилию, сознательно уходит от прямой аллюзии с евангельским деревом смерти и заменяет «осину» на «ракиту». О том, что это дерево в романе символизирует смерть, говорят слова Дмитрия, стоящего на перекрёстке дорог: «Вот ракета, платок есть, рубашка есть, верёвку сейчас можно свить, помочи в придачу и – не бременить уж более землю, не бесчестить низким своим присутствием!» [14; 142].

Образ **Грушеньки Светловой** является выражением *русской идеи* в её женском варианте. Достоевский подчёркивает это портретом своей героини: «Хороша она была очень, очень даже, – русская красота, так многими до страсти любимая» [14; 136]. Передвигалась она мягко и неслышно, а лицо имело «детское, простодушное выражение. Она глядела как дитя, радовалась чему-то как дитя, <...> и как бы сейчас чего-то ожидая с самым детским нетерпеливым и доверчивым любопытством. Взгляд её веселил душу...

И однако ж это было мощное и обильное тело» [14; 137]. Писатель отмечает не исключительность, а именно типичность этой красоты: «Добрая, милая женщина, положим красивая, но так похожая на всех других красивых, но «обыкновенных» женщин! <...>. Одним словом, красота на мгновение, красота летучая, которая так часто встречается именно у русской женщины» [14; 136, 137]. И, однако же, было в её глазах нечто, что непременно заставило бы «самого равнодушного и рассеянного человека, даже где-нибудь в толпе, на гуляньи, в давке, вдруг остановиться пред этим лицом и надолго запомнить его» [14; 137].

Достоевский наделяет Грушеньку типичными, на его взгляд, чертами русского национального характера: верующая, милосердная, способная на любовь и верность до самоотвержения и вместе с тем умеющая обеспечить свою материальную независимость. Писатель особо подчёркивает, что предприимчивость Грушеньки не порождена страстью сребролюбия, деньги нужны ей лишь для того, чтобы чувствовать себя независимой, сама же она нисколько не зависит от них: «Захочу, и не пойду я теперь никуда и ни к кому, захочу – завтра же отошлю Кузьме всё, что он мне подарил, и все деньги его, а сама на всю жизнь работницей поденной пойду!» [14; 323]. Заметим, что Грушенька является единственной героиней романа, не только открыто выражающей своё национальное самосознание, но и отстаивающей его (встреча с «прежним» в Мокром).

Писатель неоднократно отмечает религиозность Грушеньки: она крестится, молитвенно обращается к Богу. Так, узнав о смерти Зосимы, «она *набожно* (курсив наш. – О. С.) перекрестилась. – Господи, да что же я...» [14; 318], а услышав от Дмитрия об его невиновности в смерти отца, «привстала и набожно перекрестилась на икону. «Слава тебе, Господи!» – проговорила она горячим, проникновенным голосом...» [14; 455]. Грушенька и происходила «как-то из духовного звания, была дочь какого-то заштатного дьякона или что-то в этом роде» [14; 311] и даже жила вблизи Соборной площади. В Мокром она благословляет подходящих к ней девушек крестным знаменем и даже говорит Дмитрию, что пойдёт в монастырь. Это желание рождается из покаянного чувства, ставшего следствием понимания того, что *полной* и чистой радости в новой жизни не будет, если внести в неё весь груз старых грехов: «Надо, чтоб это честно... впредь будет честно... и чтоб и мы были честные, чтоб и мы были добрые, не звери, а добрые... <...> Кабы Богом была, всех бы людей простила: «Милые мои грешнички, с этого дня прощаю всех». А я пойду прощения просить: «Простите, добрые люди, бабу глупую, вот что». Зверь я, вот что. А молиться хочу. <...> Злодейке такой, как я, молиться хочется! <...> Все люди на свете хороши, все до единого. Хорошо на свете. Хоть и скверные мы, а хорошо на свете. Скверные мы и хорошие, и скверные и хорошие...» [14; 398, 397]. И она действительно просит прощения у всех собравшихся: «Виновата... простите...» [14; 398].

Достоевский подчёркивает особое духовное родство Грушеньки и Алексея, наиболее ярко проявляющееся в их отношении к Дмитрию: Алексей удерживает брата от падения, а Грушенька указывает ему правильный путь: «А мы пойдём с тобою лучше землю пахать. Я землю вот этими руками скрести хочу. Трудиться надо, слышишь?» [14; 399]. Этот призыв является скрытой аллюзией к заповеди Бога «возделывать и хранить» сад своей души (Быт. 2:15). Именно отсутствие труда над собственной душой является главной причиной всех бед Дмитрия, да и самой Грушеньки. Понимая это, она ищет идеал, способный определить предметную цель этого труда, и потому с особым вниманием присматривается к Алек-

сею: «Ты, Алёша, и не знал ничего, от меня отворачивался, пройдёшь – глаза опустишь, а я на тебя сто раз до сего глядела, всех спрашивать об тебе начала. Лицо твоё у меня в сердце осталось: «Презирает он меня, думаю, посмотреть даже на меня не захочет». И такое меня чувство взяло под конец, что сама себе удивляюсь: чего я такого мальчика боюсь?» [14; 320]. На самом деле она боится не Алексея, а того, что его внешнее благочестие – лишь лицемерная маска. Но Грушенька ещё сохраняет веру в человека и потому встречает Алексея «добродушно, весело смеясь», в ней «всё было просто, простодушно: движения её были скорые, прямые, доверчивые...» [14; 314, 315]. И, найдя в Алексее реальный пример того, что в мире действительно можно жить по заповедям Христовым, она полюбила его как надежду на спасение.

Грушенька искренне считает себя виновницей того, что произошло в семействе Карамазовых: «Это я, я окаянная, я виновата! – прокричала она раздирающим душу воплем, вся в слезах, простирая ко всем руки, – это из-за меня он убил!.. Это я его измучила и до того довела! Я и того старичка-покойничка бедного измучила, со злобы моей, и до того довела! Я виноватая, я первая, я главная, я виноватая!» [14; 412]. Её чистосердечие и искренность не могут оставить равнодушным даже строгого исправника, который говорит Дмитрию: «Она, брат, умница, она добрая...» – и даже выступает защитником Грушеньки перед лицом общественного мнения: «Я перед ней виноват, она хорошая душа, господа, это кроткая душа и ни в чём не повинная» [14; 418].

Арест Дмитрия заставил Грушеньку многое переосмыслить и в самой себе, и в своей жизни. В ней сказывался некоторый поворот духовный, являлась «какая-то неизменная, смиренная, но благая и бесповоротная решимость. Между бровями на лбу появилась небольшая вертикальная морщинка, придававшая милому лицу её вид сосредоточенной в себе задумчивости, почти даже суровой на первый взгляд. Прежней, например, ветрености не осталось и следа. Странно было для Алёши и то, что, несмотря на всё несчастье, постигшее бедную женщину, невесту жениха, арестованного по страшному преступлению, почти в тот самый миг, когда она стала его невестой, несмотря потом на болезнь и на угрожающее впереди почти неминуемое решение суда, Грушенька всё-таки не потеряла прежней своей молодой весёлости. В гордых прежде глазах её засияла теперь какая-то тихость...» [15; 5]. Она изменилась даже внешне, что сразу словами Хохлаковой злобно-завистливо заметило «общество»: «Говорят, она стала святая, хотя и поздно. Лучше бы прежде, когда надо было, а теперь что ж, какая же польза?» [15; 14].

Но всё же сразу освободиться от всего прошлого невозможно. Одиннадцатая книга романа открывается диалогом Грушеньки и Алексея, во время которого он замечает, что её глаза «изредка опять-таки пламенели некоторым зловещим огоньком, когда её посещала одна прежняя забота, не только не заглухнувшая, но даже и увеличившаяся в её сердце» и в какой-то момент «вдруг из кроткого и тихо-весёлого лицо её стало угрюмым и злым» [15; 5–6, 9]. Причиной тому была ревность Грушеньки к Катерине Ивановне и обида на неё за то, что она «погубила» Дмитрия. Поэтому на просьбу Катерины Ивановны о прощении Грушенька «посмотрела на неё в упор и, переждав мгновение, ядовитым, отравленным злобой голосом ответила: «Злы мы, мать, с тобой! Обе злы! Где уж нам простить, тебе да мне? Вот спаси его, и всю жизнь молиться на тебя буду»» [15; 188]. Этими словами она обнаружила не только подлинный мотив просьбы Катерины Ивановны, но и собственную ожесточенность [15; 9]. Однако в её сердце живут и любовь, и милосердие, в силу которого она взяла к себе в приживальщики помещика-бомжа Максимова: «Эх, всякий нужен <...>, и по чему узнать, кто кого нужней» [15; 8].

Заметим, что настоящего духовного единства, «срастания» между Грушенькой и Дмитрием ещё нет. Причина этого в том, что внутреннее перерождение Дмитрия оказалось намного глубже, чем у Грушеньки, и она не может понять этого *нового человека* в нём:



«Заговорит, заговорит – ничего понимать не могу, думаю, это он об чём умном, ну я глупая, не понять мне, думаю; только стал он мне вдруг говорить про дитё, то есть про дитятю какого-то, «зачем, дескать, бедно дитё?». «За дитё-то это я теперь и в Сибирь пойду, я не убил, но мне надо в Сибирь пойти!» Что это такое, какое такое дитё – ничегошеньки не поняла. Только расплакалась, как он говорил, потому очень уж он хорошо это говорил, сам плачет, и я заплакала, он меня вдруг и поцеловал и рукой перекрестил» [15; 10–11]. Повторяется сцена, когда Соня не понимает «учёной» аргументации Раскольникова и просит его объяснить причину происшедшего просто: «Говори, говори! Я пойму, я *про себя* всё пойму!» [6; 318].

Образ **Катерины Ивановны Верховцевой** – женский вариант типа человека, целиком полагающегося лишь на собственные силы и готового бросить вызов всем внешним обстоятельствам. Нравственную основу этого типа образуют гордыня и порождённый ею бунт с целью утверждения собственной воли.

Достоевский неоднократно подчёркивает гордость как доминирующую черту личности Катерины Ивановны, которая «подчинялась лишь своей благодетельнице, генеральше...» [14; 133], тогда как все остальные безоговорочно и без сопротивления подчинялись ей. Уже при первой встрече Алексея «поразила властность, гордая развязность, самоуверенность надменной девушки» [14; 133]. А Дмитрий заметил: «Такие такими и остаются, они не смиряются перед судьбой» [14; 134]. Судьба означает «судилище», «суд Божий»<sup>305</sup>, и то, что Катерина Ивановна не может смириться перед Богом, действительно говорит об её непомерной гордыне. Гордость настолько переполняет её, что она даже чувствует «потребность гордиться» [14; 172]. Это восхищает Дмитрия: «Но гордость наша, но потребность риска, но вызов судьбе, вызов в беспредельность!» [14; 143]. Однако поскольку «беспредельность» – одно из свойств Бога, то последние слова можно воспринимать и как указание на богоборческий характер Катерины Ивановны.

Она всегда уверена как в собственной правоте, так и в праве распоряжаться чужими судьбами. Так, *она решила*, что должна спасти Дмитрия: «Он ещё не погиб! Он только в отчаянии, но я ещё могу спасти его» [14; 135]. Но Дмитрий бежит от такого «спасения», а Катерина Ивановна в тщеславном ослеплении даже не понимает нелепости своего упрека Алексею в том, что Дмитрий доверился брату, а не ей: «Отчего я до сих пор не заслужила того же?». Более того, она совершенно искренне ставит себя наравне с Богом, требуя, чтобы Дмитрий не стыдился перед ней своего падения: «Ведь Богу он говорит же всё, не стыдись» [14; 135].

Причиной сближения Катерины Ивановны и Дмитрия стала гордость, выражающаяся в стремлении жить по собственным правилам, не связанным непосредственно ни с Божьим, ни с человеческим законом. Но гордость Дмитрия скрыта под его страстностью и сладострастной витальностью, а гордость Катерины Ивановны закована в броню рационализма. Ослеплённая гордостью, Катерина Ивановна уверена, что способна подчинить себе *любого* человека, в том числе и Дмитрия, которого она искренне считала намного ниже себя. Но гордость Дмитрия («Бурбон я был ужаснейший» [14; 103]) противилась давлению гордой воли Катерины Ивановны тем сильнее, чем более оно возрастало.

В конце концов Дмитрий уходит к Грушеньке, а после «катастрофы» начинается его духовное перерождение. Он обретает веру и встаёт на путь очистительного страдания. Пусть Грушенька не всё поняла в этом «новом» Митеньке, она поддерживает его и готова идти вместе с ним до конца, а Катерина Ивановна в духовном смысле осталась там же, где и была. Она не делает зла намеренно, потому что в ней есть и искренность, и благородство, но сердечные порывы настолько глубоко скрыты под рационально усвоенными правилами

<sup>305</sup> Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 тт. – СПб: ТОО «Диамант», 1996. – Т. 4. – С. 356.

и принципами, на которых зиждется гордость, что прорываются крайне редко и всегда болезненно<sup>306</sup>.

Заметим, что нравственная исковерканность Катерины Ивановны намного страшнее, чем у Фёдора Павловича. Он просто (подобно героям «Бобка») сокрушает все приличия, она же разумом лжёт себе и волей заставляет себя поверить этой лжи. В результате возникает некое метабытийное пространство лжи, фантастический мир, которым человек заменяет подлинную реальность.

После того как Дмитрий отдалился от Катерины Ивановны, та же самая гордость стала причиной её сближения с Иваном. И здесь она нашла равного себе. Как «Иван не мог бы перед нею смириться, да и смирение это не дало бы ему счастья» [14; 170], так и Катерина Ивановна «не может ни с кем примириться» [14; 171]. Иван прямо говорит Катерине Ивановне: «И всё это от вашей гордости. О, тут много принижения и унижения, но всё это от гордости...» [14; 175]. Речь идёт о той трагической ситуации, в которой Катерина Ивановна оказалась, желая во что бы то ни стало «приручить» Дмитрия: «Я буду богом его, которому он будет молиться, – и это по меньшей мере он должен мне за измену свою и за то, что я перенесла через него...» [14; 172].

Иван отлично это понимает: «Что для других лишь обещание, то для неё вековечный, тяжёлый, угрюмый может быть, но неустанный долг. И она будет питаться чувством этого исполненного долга!». А вся жизнь её теперь «будет проходить <...> в страдальческом созерцании собственных чувств, собственного подвига и собственного горя <...>, в сладком созерцании раз навсегда исполненного твёрдого и гордого замысла...» [14; 173]. Иван прав – Катерина Ивановна действительно чувствует потребность в страдании, от которого испытывает особое удовольствие: «Она задыхалась. Она, может быть, гораздо достойнее, искуснее и натуральнее хотела бы выразить свою мысль, но вышло слишком поспешно и слишком обнажённо» [14; 172]. Однако гордыня способна управлять и волей, и чувствами: «В один миг произошла в ней удивительная перемена, чрезвычайно изумившая Алёшу: вместо плакавшей сейчас в каком-то надрыве своего чувства бедной оскорблённой девушки явилась вдруг женщина, совершенно владеющая собой и даже чем-то чрезвычайно довольная, точно вдруг чему-то обрадовавшаяся» [14; 173].

Причину таких перемен хорошо понимает Дмитрий. Он вспоминает, как хотел *снова* попросить у Катерины Ивановны денег: «Она могла бы мне дать эти деньги <...>, из отщепености мне дала бы, из наслаждения мщением, из презрения ко мне дала бы, потому что это тоже inferнальная душа и великого гнева женщина!» [14; 446]. Inferнальность Катерины Ивановны обуславливается её рабством множеству страстей: гордыне, властолюбию, гневу, мести. Однако даже несмотря на это в ней сохраняется образ Божий и живая душа, что выражается в бескорыстной помощи семейству Снегирёвых [14; 486–487].

В её душе идёт ни на минуту не прекращающаяся борьба между страстями, разумом и живым человеческим сердцем. Совесть говорит Катерине Ивановне о том, что в случившемся с Дмитрием есть немалая доля и её вины, но гордый разум пытается заглушить этот голос насильным исполнением рационально созданного долга. Так же рационально, не веря, но зная о силе веры, она пытается использовать религию. Об этом говорят слова Ивана: «Теперь всю ночь молить Божию Матерь будет, чтоб указала ей, как завтра на суде поступить...» [15; 39]. Однако необходимым условием общения с Богом является покаяние и смирение, а их нет ни в словах, ни в поступках Катерины Ивановны даже в отношении тех, кого она любит: «Я объяснений дать не захотела, просить прощения не могла; тяжело мне было, что такой человек мог заподозрить меня в прежней любви к этому...» [15; 180]. В религии

<sup>306</sup> Подобный нравственно-психологический тип Достоевский уже показал в образе сестры Аркадия Долгорукого, Анны («Подросток»).

она ищет лишь облегчения страданий, но не общения с Богом и спасения от смерти. Поэтому она усиленно уговаривает Алексея: «Я для того вас и призвала сегодня, чтобы вы обещались мне сами его уговорить. Или, по-вашему, тоже бежать будет нечестно, не доблестно, или как там... не по-христиански, что ли?» [15; 182]. Она ни на минуту не сомневается, что Дмитрий способен на подлость: «Ничего, ничего, за него не бойтесь! <...> Будьте уверены, что он согласится бежать. <...> Не беспокойтесь, согласится бежать. Да он уж и согласен: разве может он свою тварь оставить? А в каторгу её не пустят, так как же ему не бежать? Он, главное, вас боится, боится, что вы не одобрите побега с нравственной стороны, но вы должны ему это великодушно *позволить*, если уж так необходима тут ваша санкция, – с ядом прибавила Катя» [15; 181].

Гордыня и властолюбие препятствуют духовно-нравственному преображению Катерины Ивановны, поэтому она «изменилась мало за это время, но тёмные глаза её сверкали зловещим огнём», и какая-то особая «решимость сверкала в её тёмном, сумрачном взгляде» [15; 37, 111]. Тьма и сумрак в европейской культуре традиционно являются символами inferнального отсутствия Света. О возможной причине такого духовного состояния соперницы говорит Грушенька: «Стыда в ней мало истинного, вот что...» [15; 114]. В отличие от Дмитрия, Катерина Ивановна старается руководствоваться в жизни исключительно разумом, не замечая, что иногда он позволяет совершать страшные подлости. Так, она рассказала на суде, как сыграла на слабости Дмитрия, намеренно заставив мучиться: ««Тебе надо денег для измены мне с твоею тварью, так вот тебе эти деньги, я сама тебе их даю, возьми, если ты так бесчестен, что возьмёшь!..». Я уличить его хотела, и что же? Он взял, он их взял, и унёс, и истратил их с этою тварью там, в одну ночь...» [15; 119]. Достоевский делает характерные ремарки, показывающие внутреннее состояние Катерины Ивановны, которая «злорадно и ехидно подсказывала суду» наиболее характерные детали письма, «конечно, презирая все для себя последствия, хотя, разумеется, их предвидела ещё, может, за месяц тому, потому что и тогда ещё, может быть, содрогаясь от злобы, мечтала: «Не прочесть ли это суду?»» [15; 120].

С каждым днём Катерина Ивановна всё больше ненавидит Дмитрия, при одном упоминании о котором она уже даже и не говорит, а «злбно отчеканивает» слова и «яростно скрежещет в испуге» [15; 37, 120]. Она уверена не только в том, что он убил отца, но и в том, что он способен на подлость: «Так или этак, а он всё-таки придёт к этому выходу: он должен бежать!» [15; 180]. Дмитрий говорит о причине этого: «За многое мы друг друга ненавидели, Катя, но клянусь, клянусь, я тебя и ненавидя любил, а ты меня – нет!» [15; 120]. Но она не понимает Дмитрия и смеётся над его новой верой: «Он там толкует <...> про какие-то гимны, про крест, который он должен понести, про долг какой-то <...> разве он готов на страдание <...> да и такому ли страдать? Такие, как он, никогда не страдают!» [15; 181–182]. И, замечает Достоевский, «какое-то чувство уже ненависти и гадливого презрения прозвучало в этих словах. А между тем она же его предала» [15; 182].

В горделивом ослеплении замкнутая на саму себя, Катерина Ивановна перестаёт понимать даже Ивана, говоря Алексею, что его заявление о виновности в смерти отца вызвано особым великодушием: «Этот несчастный, этот герой чести и совести <...> не покинул мысли спасти брата. <...> Вы такого самопожертвования не поймёте во всей полноте...» [15; 180]. Она не допускает возможности изменения духовного мира Ивана и считает, что это она спровоцировала его признание в суде: «О, всему, всему причиною моё бешенство! Это я, я и приготовила эту проклятую сцену в суде! Он захотел доказать мне, что он благороден, и что пусть я и люблю его брата, но он всё-таки не погубит его из мести и ревности.

Вот он и вышел в суде... Я всему причиною, я одна виновата!» [15; 181]. И хотя Катерина Ивановна произносит те же слова, что и Грушенька, в них нет раскаяния. Ради своего

чувства к Ивану она готова даже на преступление, и потому заранее продумывает сцену в суде и берёт с собой «документ», обличающий Дмитрия.

Непрекращающаяся борьба сердца и скованного страстями разума заставляют живую душу Катерины Ивановны страдать искренно и глубоко: «Она теперь именно в той степени невыносимого страдания, когда самое гордое сердце с болью крушит свою гордость и падает побеждённое горем» [15; 181]. И в какой-то момент Алексей вдруг почувствовал, что «совесть тянет её повиниться, именно пред ним <...>, со слезами, со взвизгами, с истерикой, с битьём об пол. Но он боялся этой минуты и желал пощадить страдающую» [15; 181], понимая, что Катерина Ивановна может не вынести собственного покаяния. Алексей чувствует, что помочь ей может лишь искреннее раскаяние, и фактически принуждает её к нему, заставляя прийти к Дмитрию в тюрьму: «Вы безвинно погибшего посетите, – с вызовом вырвалось у Алёши, – его руки чисты, на них крови нет! Ради бесчисленного его страдания будущего посетите его теперь! Придите, проводите во тьму... станьте на пороге и только... Ведь вы должны, *должны* это сделать! – заключил Алёша, с невероятной силой подчеркнув слово «должны»» [15; 182].

И Катерина Ивановна заставила себя прийти к Дмитрию в тюремную больницу. Они простили друг другу всё и «лепетали <...> речи почти бессмысленные и иступлённые, может быть даже и неправдивые, но в эту-то минуту всё было правдой, и сами они верили себе беззаветно» [15; 188]. Однако раскаяние Катерины Ивановны не продолжилось покаянием – стремлением к духовному самопреображению, потому что почти сразу было подавлено гордыней. И Катерина Ивановна приходит к Дмитрию не для того чтобы попросить прощения, а для того чтобы «себя казнить» [15; 188]. По этому, когда внезапно вошла Грушенька и Катерина Ивановна «тихо, почти шёпотом, простонала ей: «Простите меня!»» [15; 188], это не было смирением. Грушенька поняла это сразу: «Уста её говорили гордые, а не сердце...» [15; 189]. Слова Катерины Ивановны подтверждают её правоту: «Нет, перед этой не могу казнить себя! Я сказала ей «прости меня», потому что хотела казнить себя до конца. Она не простила... Люблю её за это! – искажённым голосом прибавила Катя, и глаза её сверкнули дикою злобой» [15; 189].

Особенно быстрое и глубокое падение, связанное с крушением детских идеальных представлений о мире, испытывает **Лиза Хохлакова**. До поры она жила любя весь мир и желая счастья всем людям. Она верила, что счастье возможно и достижимо в самом ближайшем будущем: «Алёша, мы будем счастливы!» [14; 201]. Но скоро Лиза оказалась втянута в мир взрослых отношений и поневоле узнала, что он вовсе не так прекрасен, как ей казалось, – хорошие и даже близкие люди могут ненавидеть и убивать друг друга. Это открытие, в силу глубины характера и тонкой развитости чувств, поражает её настолько, что и она объявляет свой бунт против несовершенства мира.

Он начинается с малого: с подслушивания чужих разговоров, «невинной» лжи [15; 20] и чтения «дурных» книг [15; 23], но скоро доходит до полного отрицания мира, в котором, как ей кажется, правит зло: «Алёша, правда ли, что жида на Пасху детей крадут и режут? <...> Я читала про какой-то где-то суд, и что жид четырёхлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял, а потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, чрез четыре часа. Эка скоро! Говорит: стонал, всё стонал, а тот стоял и на него любовался. Это хорошо!» [15; 24]. Зло поразило её своей смертоносной привлекательностью, заключённой в праве быть «не как все» и по своему усмотрению преступать закон Божественного мироустройства. Оно прельстило ещё не окрепшую душу Лизы и новой, не ведомой до сих пор «свободой»: «Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть» [15; 24].

Эти слова – детский протест Лизы против торжества зла: «Знаете, я про жида этого как прочла, то всю ночь так и тряслась в слезах. Воображаю, как ребёночек кричит

и стонет (ведь четырёхлетние мальчики понимают), а у меня всё эта мысль про компот не отстает» [15; 24]. Жить в *этом* мире она больше не хочет и готова разрушить его: «Я ужасно хочу зажечь дом, <...>, наш дом. <...> Я просто не хочу делать доброе, я хочу делать злое, <...> чтобы нигде ничего не осталось. Ах, как бы хорошо, кабы ничего не осталось!» [15; 22]. Отвергая мир Божий, Лиза отказывается и от собственного спасения: «Я не хочу быть счастливою! <...> Я не хочу быть святою. Что сделают на том свете за самый большой грех?» [15; 21, 22]. Таким грехом православие считает сознательное и упорное противление воле Божией, что может выражаться как в целенаправленном разрушении Его мира, так и в саморазрушении. И Лиза готова к этому: «Я хочу себя разрушать» [15; 23], – потому что уже почувствовала особую сладость преступления: «Все меня обступят и будут показывать на меня пальцами, а я буду на всех смотреть. Это очень приятно» [15; 22].

Она подошла к самому краю гибели, но ещё не сделала последнего шага: «Мне иногда во сне снятся черти, будто ночь, я в моей комнате со свечкой, и вдруг везде черти, во всех углах, и под столом, и двери отворяют, а их там за дверями толпа, и им хочется войти и меня схватить. И уж подходят, уж хватают. А я вдруг перекрещусь, и они все назад, боятся, только не уходят совсем, а у дверей стоят и по углам, ждут. И вдруг мне ужасно захочется вслух начать Бога бранить, вот и начну бранить, а они-то вдруг опять толпой ко мне, так и обрадуются, вот уж и хватают меня опять, а я вдруг опять перекрещусь – а они все назад. Ужасно весело, дух замирает» [15; 23]. Лиза стоит на пороге *своего* преступления, и бесы подталкивают её к последнему шагу, сближая с тем, кто уже перешагнул эту черту: она позвала к себе Ивана и «рассказала про мальчика и про компот, *всё* рассказала, *всё*, и сказала, что «это хорошо». Он вдруг засмеялся и сказал, что это в самом деле хорошо. Затем встал и ушёл» [15; 24]. И «когда он вышел и засмеялся, я почувствовала, что в презрении быть хорошо. И мальчик с отрезанными пальчиками хорошо, и в презрении быть хорошо...» [15; 24–25]. Лишь в самый последний момент Лиза осознала всю гибельность этого пути и бросилась к Алексею: «Спасите меня!» [15; 25].

В этой ситуации ей действительно может помочь только Алексей, потому что только он понимает, *что* происходит с ней и Иваном: «Он *тоже* (курсив наш. – О. С.) очень теперь болен, Lise» [15; 24]. Действительно, и Иван и Лиза духовно больны, но болезнь Лизы вызвана праздностью, которая пройдёт, как только она поправится и сможет заняться каким-нибудь делом. А причина болезни Ивана в том, что «он <...> никому не верит» [15; 24]. Эти слова говорят о том, что положение Ивана намного трагичнее, чем положение Лизы, которая ещё сохраняет веру в Бога и надеется на помощь Алексея: «Алёша, спасите меня!» [15; 25]. Залогом её спасения является необычайная духовная близость между ними, о которой говорят слова Алексея: «И у меня бывал этот самый сон» [15; 23]. Важно, что Алексей говорит о себе в прошедшем времени: «Сон бывал...». Это означает, что он уже прошёл тот участок жизненного пути, на котором сейчас находится Лиза, и преодолел встретившиеся на нём искушения. Он смог это сделать, потому что рядом был сильный и мудрый учитель, а Лиза оказалась одна на своём духовном пути, и теперь Алексей должен стать для неё тем, кем был для него самого Зосима.

Образом Лизы писатель показывает проблему разрыва духовной связи между поколениями и во вполне благополучных внешне семьях. Мать Лизы жила своей «обычной» жизнью – без ясного идеала и твёрдой веры, и ей нечего было передать дочери, вступающей в жизнь. В результате Лиза вошла во взрослый мир, полный смертельных опасностей, не имея ни ясных жизненных ориентиров, ни мудрого учителя, который помог бы найти их.

\* \* \*

Напомним, что, по словам Достоевского, убийство старика Карамазова составляет «предмет» лишь «первого вступительного романа или, лучше сказать, его внешнюю сторону» [14; 12]. Следовательно, если падение Дмитрия (и остальных героев) образует *внешнюю идею* романа, то его возрождение – *внутреннюю*. Но сам «вступительный» роман – лишь *внешняя идея* другого, более важного для автора романа. Его началом следует считать книгу «Мальчики», вводящую в повествование новую сюжетную линию, основу которой составляют взаимоотношения Алексея Карамазова с группой гимназистов, центральными фигурами которой являются **Илюша Снегирёв** и **Коля Красоткин**. *Внешнюю идею* этого нового романа образует конфликт Илюши с товарищами, его болезнь и смерть. *Внутренняя идея* выражена евангельскими словами о падшем зерне, вынесенными в эпиграф к «Братьям Карамазовым» и ещё дважды повторёнными в тексте.

Страдания детей почти всегда являются следствием нарушения их родителями закона Божественного мироустройства (Исх. 20:5–6). Безвинностью своих страданий Илюша уподобился Христу, а его смерть, как и крестная смерть Спасителя, стала исполнением евангельских слов о пшеничном зерне, потому что в своей жизни он исполнил всё, что должен: заставил очнуться от пьяного сна отца, объединил своих товарищей в братство новых людей и дал им наставников – Алексея и Николая.

О неотмирности Илюши говорит его место в доме – под образами. [14; 485], а об его предназначении – сцена перед уходом в Мир иной. Илюша «вдруг бросил свои обе исхудалые ручки вперед и крепко, как только мог, обнял их обоих разом, и Колю и папу, соединив их в одно объятие и сам к ним прижавшись... – Папа, папа! Как мне жалко тебя, папа!» [14; 506–507]. Слова Илюши полны глубокого христианского смысла: жалеть нужно не того, кто уходит к Источнику всякой радости, счастья и любви, а того, кто остаётся страдать за свои и чужие грехи.

Эта сцена имеет и глубоко символическое значение, раскрывающее *внутреннюю идею* второго романа, – Илюша восстанавливает разорванную цепь межпоколенчатой преемственности, устанавливая особые, духовные связи между людьми. Стоя на пороге духовного мира, Илюша открывает другу, остающемуся в мире людей, смысл его жизни, и теперь Николаю нужно лишь найти правильные средства для его исполнения. Илюша обнаруживает и делает явным Божественный Промысел: между его отцом, товарищами, Николаем и Алексеем уже возникла крепкая духовная связь. И главное значение смерти Илюши открывается в том, чтобы утвердить неслучайность этой связи и показать её неземной замысел.

Николая сближают с Алексеем глубокий внутренний мир, тонкая душевная организация и энергичная натура, заставляющая активно относиться к себе и окружающим [14; 478]. Причём характер и направление этой деятельности определены особым талантом Николая – педагогическим дарованием. Он очень любит маленьких детей, с удовольствием и ответственностью заботится о них, и они отвечают ему доверием и любовью [14; 467]. При этом Николай не развлекается с малышами, не играет в учителя, а уже является им, чувствуя в себе потребность «учить, развивать, действовать на молодое поколение, развивать, быть полезным...» [14; 479–480]. И он действительно учит – и малышей: «Маму вы никогда не обманывайте...» [14; 470], и своих товарищей: «Школьник, гнушайся лжи, это раз; даже для добрых дел, два» [14; 472]. Дарование Николая проявляется и в том, как он сознательно ставит перед собой педагогическую задачу: «Вышколить характер, выровнять, создать человека...» [14; 480]. Он даже предпринимает педагогический эксперимент, но допускает ошибку, которую на его месте сделали бы и многие взрослые педагоги: наказывает за неумышленный про-

ступок уже раскаявшегося в нём человека, что приводит к обратному результату – Илюша ожесточается.

Николай скоро понимает, что для того, чтобы учить других, надо учиться самому. Свои знания он черпает из бессистемного чтения и общения со старшими. Он намеренно вступает в разговор с самыми разными людьми, чтобы понять их характер и образ мыслей [14; 474]<sup>307</sup>. Отсюда – не объяснимая никакими внешними причинами тяга к народу. Коле нравится «говорить с народом» [14; 474], он приглядывается к нему, стараясь понять его образ жизни и мировоззрение. Однако он ещё не знает, как это сделать правильно, и руководствуется лишь собственным разумением: «Я люблю расшевелить дураков во всех слоях общества» [14; 477]. Но он слишком торопится судить: «Ну не написано ль у этого на лице, что он дурак?» [14; 477]. Достоевский подчёркивает, что эти слова вызваны лишь нетерпением молодости, потому что Николай способен увидеть собственную неправоту и «всегда готов признать ум в народе» [14; 477].

Очевидная ограниченность такого самообразования заставляет Николая искать себе учителя, которым и становится Алексей Карамазов. Прежде всего, Николая привлекает открытость Алексея всем проявлениям жизни, соединённая с неуклонным следованием каким-то незыблемым ценностям. Именно в этом сейчас больше всего и нуждается подросток: «Эта черта в вашем характере <...> всего более заинтересовала меня» [14; 480]. Некоторое время он присматривается к Алексею и в конце концов принимает решение: «Я пришёл у вас учиться, Карамазов...» [14; 484].

Этот выбор очень непросто для Николая, потому что у него уже был учитель, оказавший немалое воздействие на его сознание. Именно от него Николай воспринял некоторые духовно вредные идеи, искажающие душу и разлагающие совесть. К счастью, зло не успело проникнуть вглубь души, а осталось на её поверхности в виде ряда идеологических клише: «Я социалист <...>. Это коли всё равно, у всех одно общее имя, нет браков, а религия и все законы как кому угодно...» [14; 473]. Эта атеистическая манифестация вызывает вопрос Алексея: «Как, да разве вы в Бога не веруете?» [14; 499]. В ответ он слышит «прогрессивную» фразеологию: «Напротив, я ничего не имею против Бога. Конечно, Бог есть только гипотеза... но... я признаю, что Он нужен, для порядка... для мирового порядка и так далее... и если б Его не было, то надо бы Его выдумать» [14; 499]. Эту замусоленную цитату из Вольтера подросток продолжает мыслью В. Г. Белинского: «И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи Он в наше время, Он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль...» [14; 500]<sup>308</sup>. Явно с чужого голоса он заявляет, что «классические языки <...> это полицейская мера <...>, они заведены потому, что скучны, и потому, что отупляют способности» [14; 498], а всемирная история есть «изучение ряда глупостей человеческих, и только», а потому «я уважаю одну математику и естественные» [14; 497] и т. д. Выслушав всё это, Алексей понимает, что Коля – лишь разносчик лживых идей: «Ну кто вас этому всему научил?», «Мне <...> грустно, что прелестная натура, как ваша, ещё и не начавшая жить, уже извращена всем этим грубым вздором» [14; 498, 502].

Скоро выясняется, что это плоды бесовской деятельности Ракитина, который успел заразить подростка духовными «трихинами», и Николай начал терять ясные ориентиры добра и зла. В результате он понудил парня на базаре к бессмысленному убийству птицы, то есть сделал почти то же, что и Смердяков с Илюшей, но, в отличие от него, так и не осознал

<sup>307</sup> Заметим, что подобное активное познание жизни, стремление узнать в ней самое главное было свойственно и самому Достоевскому: «Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время...» [28, 1; 63].

<sup>308</sup> См. знаменитое зальцбрунское письмо Белинского (1847), вызванное полемикой вокруг «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя.

своего преступления, хотя совершил его без злобы и ненависти [14; 495]. В другом случае, желая произвести на товарищевой особое впечатление, он долго не приходил к Илюше, чтобы выдрессировать Перезвона и «показать его во всём блеске!» [14; 492]. Эффект превзошел все ожидания, но «если бы только знал не подозревавший ничего Красоткин, как мучительно и убийственно могла влиять такая минута на здоровье больного мальчика, то ни за что бы не решился выкинуть такую штуку, какую выкинул. Но в комнате понимал это, может быть, лишь один Алёша» [14; 491].

Описание внешности Николая говорит о его способности к глубоким внутренним движениям: глаза «смотрели смело и часто загорались чувством» [14; 478]. Внутренний мир своего героя Достоевский показывает через монологи (в т. ч. и внутренние) и поступки. Оказывается, что при множестве положительных качеств в Николае есть одна черта, являющаяся постоянной причиной внутренних страданий и конфликтов с окружающими, – гордость [14; 496]. Однако Достоевский подчёркивает, что гордость Николая ещё не стала преобладающей чертой его души, а он лишь «любит в иных случаях быть гордым» [14; 473], что связано с самолюбием и стремлением к первенству, столь естественным в юности. Главное, что он способен к признанию собственных ошибок: «Кажется, я сделал глупо...», их исправлению: «Теперь раскаиваюсь» [14; 482] – и сознательно относится к себе как к личности: «Я обещался матери кончить курс, а по-моему, за что взялся, то уж делать хорошо...» [14; 498]. Стремление развить свой разум и волю, чтобы поскорее стать взрослым, сочетается в нём с добрым сердцем, душевной чистотой и целомудрием. А в разговоре с Алексеем ярко обнаруживается национальное самосознание Николая: «Я <...> считаю, что бежать в Америку из отечества – низость, хуже низости – глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно много принести пользы для человечества? Именно теперь. Целая масса плодотворной деятельности» [14; 501]. Главной целью этой деятельности он считает достижение всеобщего счастья: «Уж и так счастливы, так вот вам и ещё счастья!» [14; 493].

Полагаем, что образ Николая Красоткина является символическим обобщением переходного (от отрочества к юности) возраста русской молодёжи. Об особенностях этого возраста Достоевский говорит словами Алексея, передающего мнение «одного заграничного немца, жившего в России, об нашей теперешней учащейся молодёжи: «Покажите вы <...> русскому школьнику карту звёздного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленную». Никаких знаний и беззаветное самомнение – вот что хотел сказать немец про русского школьника» [14; 502]. Коля в восторге: «Браво, немец! Однако ж чухна не рассмотрел и хорошей стороны, а, как вы думаете? Самомнение – это пусть, это от молодости, это исправится, если только надо, чтоб это исправилось, но зато и независимый дух, с самого чуть не детства, зато смелость мысли и убеждения, а не дух ихнего колбаснического раболепства пред авторитетами... Но всё-таки немец хорошо сказал! Браво, немец! Хотя всё-таки немцев надо душить. Пусть они там сильны в науках, а их всё-таки надо душить...» [14; 502]. Последние слова не могут быть расценены как проявление шовинизма. Контекст высказывания и психология персонажа говорят о метафорическом смысле высказывания: «душить» означает «ограничивать». При этом Николай понимает необдуманность своих слов: «Я иногда ужасный ребёнок, и когда рад чему, то не удерживаюсь и готов наврать вздору» [14; 502]<sup>309</sup>.

Алексей понимает, что внутренний, духовный мир Николая необходимо привести в порядок. Для этого он *просто разговаривает* с мальчиком, стараясь следовать Тому, Кто был назван Учителем всех людей. Диалоги Алексея с Николаем (книга «Мальчики», главы IV и VI) представляют собой уникальное явление для всего художественного творчества Достоевского. Это – *педагогические* диалоги, показывающие образец общения учителя с учеником,

<sup>309</sup> Современным аналогом слов Николая является выражение «перекрыть кислород».



в ходе которого последний усваивает множество необходимых для жизни знаний. Главную особенность этих диалогов отмечает сам Николай: «Знаете, меня более всего восхищает, что вы со мной совершенно как с ровней» [14; 504]. Этот педагогический эффект стал результатом искренней, нелицемерной любви учителя, что сразу почувствовал ученик, назвав эти «нешкольные уроки» «объяснением в любви» [14; 504]. Любя в Коле человека, Алексей говорит с ним как с равным себе, возвышая его до себя и одновременно сам умаяясь до него [14; 484]. Обладая врождённым педагогическим талантом, Алексей уместно применяет различные методы педагогики. Прежде всего он использует *убеждение*: «Когда вам будет больше лет, то вы сами увидите, какое значение имеет на убеждение возраст» [14; 500], – и *пример*, обращая внимание ученика на тяжёлые душевные и физические страдания, переполняющие семейство Снегирёвых: «Вам очень полезно узнавать вот такие существа, чтоб уметь ценить и ещё многое другое, что узнаете именно из знакомства с этими существами. <...> Это лучше всего вас переделает» [14; 502]. Алексей своевременно и предельно деликатно, не задевая самолюбия Николая, исправляет его ошибку, допущенную в общении с младшими товарищами: «Давеча вот Коля сказал Карташову, что мы будто бы не хотим знать «есть он или нет на свете?» Да разве я могу забыть, что Карташов есть на свете...» [15; 196]. Заметим, что Алексей никогда не использует метод *принуждения*, делая основным наглядный *пример*: «Господа, милые мои господа, будем все великодушны и смелы как Илюшечка, умны, смелы и великодушны как Коля <...>, и будем такими же стыдливými, но умненькими и милыми, как Карташов» [15; 196].

В результате Алексей достигает важнейшей педагогической цели – его ученик начинает понимать самого себя: «Я мнителен... <...>. О, как я жалею (о сделанной ошибке. – О. С.) и браню себя... <...>. А впрочем, мне поделом: я не приходил из самолюбия, из эгоистического самолюбия и подлого самовластия, от которого всю жизнь не могу избавиться, хотя всю жизнь ломаю себя. Я теперь это вижу, я во многом подлец...» [14; 502–503]. С этого момента начинается самостоятельная борьба Николая с гордостью и его духовно-нравственное совершенствование.

Алексей помогает своему младшему товарищу найти верный путь: «Вы, как и все, <...> то есть как очень многие, только не надо быть таким как все, вот что. Даже несмотря на то, что все такие. Один вы и будьте не такой» [14; 503–504]. Алексей указывает на естественные предпосылки к тому: «Вы и в самом деле не такой, как все: вы вот теперь не постыдились же признаться в дурном и даже в смешном. А нынче кто в этом сознается? Никто, да и потребность даже перестали находить в самоосуждении. Будьте же не такой как все; хотя бы только вы один оставались не такой, а всё-таки будьте не такой» [14; 504]. Он задумывается над тем, что произошло с Колей: ««Нынче почти все люди со способностями ужасно боятся быть смешными и тем несчастны. Меня только удивляет, что вы так рано стали ощущать это, хотя, впрочем, я давно уже замечаю это и не на вас одних. Нынче даже почти дети начали уж этим страдать. Это почти сумасшествие. В это самолюбие воплотился чёрт и залез во всё поколение, именно чёрт», – прибавил Алёша, вовсе не усмехнувшись...» [14; 503].

Коля – новый Алексей, не прошедший ада разлагающейся семьи. В нём нет карамазовщины, поэтому он свободнее, смелее и чище. Но пока в нём нет и крепости, хотя есть и воля, и самообладание. Он стремится к совершенствованию себя и мира, но идеал этого совершенствования представляется ему ещё очень неясно. Алексей должен помочь Николаю найти идеал и стать одним из тех новых людей, о которых Достоевский сказал в эпилоге «Преступления...»: «Спасти во всём мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю...» [6; 420].

Наследуя служение Зосимы, Алексей становится учителем для тех, кто видит в нём учителя. И так же, как Зосима ему, он открывает Николаю его будущее: «Вы, между про-

чим, будете и очень несчастный человек в жизни...» [14; 504]. Этими словами Алексей указывает на великий подвиг, предстоящий Николаю, ибо, уверен Достоевский, «все великие люди были счастливы. Их грусть, переживанья, их страдания – счастье. Они должны были быть счастливы. Великий человек не может быть несчастлив. А что их на крестах распинали, то это ничего» [7; 189]. И так же, как Зосима передал Алексею знамя духовной борьбы за человеческие души, Алексей, уезжая из города, передаёт его Николаю, ставшему учителем для тех, кто младше его. Полагаем, что так проявляется мысль Достоевского о возникновении в России духовного братского союза людей: все идут к одной цели одним путём, на котором сильные помогают слабым.

Последняя сцена романа имеет открытую евангельскую символику: после похорон Илюши Алексей произносит проповедь, окружённый двенадцатью учениками. Он не пересказывает им слово Божие, которое запечатлено в их сердцах, а лишь объясняет, *что и как* нужно делать, чтобы исполнить его: «Не забываете никогда, как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соединённым таким хорошим и добрым чувством, которое и нас сделало на это время любви нашей к бедному мальчику, может быть, лучшими, чем мы есть в самом деле» [15; 195]. Заметим, что эти слова передают важнейшие педагогические идеи самого Достоевского и обращены, прежде всего, к читателям: «Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное ещё из детства, из родительского дома. <...> Вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохранённое с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасён человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение» [15; 195]. Это воспоминания о свершениях деятельной любви, участником или хотя бы свидетелем которых был ребёнок и которые способны указать ему путь даже в самые мрачные дни его взрослой жизни: «Будем, во-первых, и прежде всего добры, потом честны, а потом – не будем никогда забывать друг о друге. Это я опять-таки повторяю» [15; 196].

Алексей произносит свою проповедь в особом месте – у камня, к которому любил ходить Илюша с отцом. Недопустимо усматривать в этом параллель с основанием Христом Церкви, потому что Алексей *не создаёт новую церковь*, а утверждает ту, которую уже создал Христос. Слова Алексея говорят о том, что в его жизни, как и в жизни окружающих его детей, этот камень стал вехой важнейшего этапа духовного пути: «Господа, мы скоро расстанемся. Я теперь пока несколько времени с двумя братьями, из которых один пойдёт в ссылку, а другой лежит при смерти. Но скоро я здешний город покину, может быть очень надолго. Вот мы и расстанемся, господа» [15; 195].

Теперь Алексею можно безбоязненно оставить «малое стадо», потому что его главная педагогическая цель достигнута – восстановлен и укреплен мир между людьми, свободно объединившимися по закону любви. Основу этого мира составляет цепь духовной преемственности, благодаря которой возникшее братство оставлено на попечение молодого, но достойного пастыря. Заметим, что писатель явно намеренно привлекает внимание читателя к его имени: «Николай, Николай Иванович Красоткин...» [14; 483]. Символично русское отчество «Иванович» вместе с именем (*греч.* Νικόλαος – победитель народов; победа народа) может быть прочитано как «русский народ победит». А фамилия указывает, *чем* именно будет достигнута победа, – красотой. Пусть сейчас она ещё невелика, согласно своему носителю (отсюда – уменьшительный суффикс), но скоро вырастет и обретёт необходимую полноту. Заметим, что, по глубокому убеждению Достоевского, красота русского

народа (и человека) состоит не в каких-то свойствах его национальной (или индивидуальной) психологии, а в отражении его душой образа Христа<sup>310</sup>.

**Теоретический уровень** *русской идеи* образуют беседы старца Зосимы и некоторые идеи из житий его брата и «таинственного посетителя». Жизнь и слова старца являются воплощённым православием и составляют содержание *русской идеи*. Его дополняют и придают социальную окрашенность слова «таинственного посетителя», утверждающего, что все общественные преобразования начинаются с духовного совершенствования каждого конкретного человека: «На всякое действие свой закон. <...>. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства» [14; 275]. Однако, замечает Зосима, сейчас в обществе происходит нечто совсем обратное, – везде царствует разъединение, и «особенно в нашем веке, но не заключился ещё весь и не пришёл ещё срок ему. Ибо всякий-то теперь стремится отделить своё лицо наиболее, хочет испытать в себе самом полноту жизни, а между тем выходит из всех его усилий вместо полноты жизни лишь полное самоубийство, ибо вместо полноты определения существа своего впадают в совершенное уединение. Ибо все-то в наш век разделились на единицы, всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отдаляется, прячется и, что имеет, прячет и кончает тем, что сам от людей отталкивается и сам людей от себя отталкивает. Копит уединённо богатство и думает: сколь силен я теперь и сколь обеспечен, а и не знает безумный, что чем более копит, тем более погружается в самоубийственное бессилие. Ибо привык надеяться на себя одного и от целого отделился единицей, приучил свою душу не верить в людскую помощь, в людей и в человечество, и только и трепещет того, что пропадут его деньги и приобретённые им права его. Повсеместно ныне ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что истинное обеспечение лица состоит не в личном уединённом его усилии, а в людской общей целостности. Но непременно будет так, что придёт срок и сему страшному уединению, и поймут все разом, как неестественно отделились один от другого. Таково уже будет веяние времени, и удивятся тому, что так долго сидели во тьме, а света не видели. Тогда и явится знамение Сына Человеческого на небеси... Но до тех пор надо всё-таки знамя беречь и нет-нет, а хоть единично должен человек вдруг пример показать и вывести душу из уединения на подвиг братолюбивого общения, хотя бы даже и в чине юродивого. Это чтобы не умирала великая мысль...» [14; 275–276]. Последние слова, безусловно, принадлежат самому Достоевскому, неуклонно следовавшему словам апостола Иакова: «Вера без дел мертва» (Иак. 2:20), – и исповедовавшему деятельную любовь ко Христу и России каждый миг своей жизни.

Словами Зосимы Достоевский оценивает духовное состояние российского общества: «Посмотрите у мирских и во всем превозносящемся над народом Божиим мире, не искажился ли в нем лик Божий и правда Его? У них наука, а в науке лишь то, что подвержено чувствам. Мир же духовный, высшая половина существа человеческого отвергнута вовсе, изгнана с неким торжеством, даже с ненавистью. Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно, и что же видим в этой свободе ихней: одно лишь рабство и самоубийство! Ибо мир говорит: «Имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права такие же, как и у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай» – вот нынешнее учение мира. В этом и видят свободу. И что же выходит из сего права на приумножение потребностей? У богатых *уединение* и духовное самоубийство, а у бедных – зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности ещё не указали. Уверяют, что мир чем далее, тем более единится, слагается в братское общение тем, что сокращает расстояния, передаёт по воздуху мысли. Увы, не верьте такому единению людей. Понимая свободу как приумножение и скорое утоление потребностей искажают природу свою, ибо

<sup>310</sup> Эта мысль прямо звучит в черновиках к первому роману *великого пятикнижия*: «В красоту русского элемента верь (Соня). Русский народ всегда, как Христос, страдал, говорит Соня» [7; 134].

зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок. <...> У тех, которые небогаты, то же самое видим, а у бедных неутоление потребностей и зависть пока заглушаются пьянством. Но вскоре вместо вина упьются и кровью, к тому их ведут» [14; 284–285].

Такой жизни Зосима противопоставляет «путь иноческий», который и есть «путь к настоящей, истинной уже свободе: отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием, и достигаю тем, с помощью Божьей, свободы духа, а с нею и веселья духовного!» [14; 285]. Устами старца Достоевский формулирует *русскую идею*: «От народа спасение Руси. Русский же монастырь искони был с народом. Если же народ в уединении, то и мы в уединении. Народ верит по-нашему, а неверующий деятель у нас в России ничего не сделает, даже будь он искренен сердцем и умом гениален. Это помните. Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь. Берегите же народ и оберегайте сердце его. В тишине воспитайте его. Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей народ богоносец» [14; 285]. Старец замечает, что и среди иноков есть недостойные своего звания, но всё же больше тех, кто «образ Христов хранят пока в уединении своём благолепно и неискажённо, в чистоте правды Божией, от древнейших отцов, апостолов и мучеников, и, когда надо будет, явят его поколебавшейся правде мира. Сия мысль великая. От востока звезда сия воссияет» [14; 284].

Зосима говорит об ослаблении пастырской деятельности Церкви, вследствие чего на Русь «приходят уже лютеране и еретики и начинают отбивать стадо...» [14; 265]. Он призывает пастырей идти в народ и нести ему слово Божие, не смущаясь житейскими трудностями и заботами, и первыми исполнить то, чему учил Христос, ибо «что за слово Христово без примера? Гибель народу без слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия» [14; 267]. Исполняющему волю Божию обязательно помогает сам Бог, Который «спасёт <...> Россию, ибо хоть и развратен простолюдин и не может уже отказать себе во смрадном грехе, но всё же знает, что проклят Богом его смрадный грех и что поступает он худо, греша. <...>. Не то у высших. Те во след науке хотят устроиться справедливо одним умом своим, но уже без Христа, как прежде, и уже провозгласили, что нет преступления, нет уже греха» [14; 286]. Преобразование мира к лучшему невозможно лишь путём социальных, экономических или политических реформ. И «сие поймут лишь у нас. Были бы братья, будет и братство, а раньше братства никогда не разделятся. Образ Христов храним, и воссияет как драгоценный алмаз всему миру... Буди, буди!» [14; 286–287]. Для этого братского единения необходима лишь свободная воля каждого человека: «Неужели так недоступно уму, что сие великое и простодушное единение могло бы в свой срок и повсеместно произойти меж наших русских людей? <...> И неужели сие мечта, чтобы под конец человек находил свои радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне, – в объядении, блуде, чванстве, хвастовстве и завистливом превышении одного над другим? Твёрдо верую, что нет и что время близко» [14; 287–288]. Никогда и никому ещё не удавалось устроить жизнь справедливо и счастливо лишь собственным человеческим разумением: «Мыслю, что мы со Христом это великое дело решим. И сколько же было идей на земле, в истории человеческой, которые даже за десять лет немислимы были и которые вдруг появлялись, когда приходил для них таинственный срок их, и проносились по всей земле? Так и у нас будет, и воссияет миру народ наш, и скажут все люди: «Камень, который отвергли зиждущие, стал главою угла». Гордые безбожники «мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовёт кровь, а извлекший меч погибнет мечом. И если бы не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга даже до последних двух человек на земле. Да и сии два последние не сумели бы в гордости своей удержать друг друга, так что последний истребил бы предпоследнего, а потом и себя самого» [14; 288].

Основу проповеди Зосимы составляет учение Христа о любви: «Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие Божеской любви и есть верх любви на земле. Любите всё создание Божие, и целое и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнёшь её познавать всё далее и более, на всяк день. И полюбишь наконец весь мир уже всецелою, всемирною любовью. <...> Деток любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут для умиления нашего, для очищения сердец наших и как некое указание нам. Горе оскорбившему младенца» [14; 289]. Зосима не только проповедует слово Божие, но и говорит о том, как его исполнить: «Пред иною мыслью станешь в недоумении, особенно видя грех людей, и спросишь себя: «Взять ли силой, али смиренною любовью?» Всегда решай: «Возьму смиренною любовью». Решишься так раз навсегда и весь мир покорить сможешь. Смирение любовное – страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего» [14; 289].

Устами Зосимы Достоевский раскрывает содержание *внутренней идеи* романа: «Кто не верит в Бога, тот и в народ Божий не поверит. Кто же уверовал в народ Божий, тот узрит и святыню его, хотя бы и сам не верил в неё до того вовсе. Лишь народ и духовная сила его грядущая обратит отторгнувшихся от родной земли атеистов наших» [14; 267]. Образованный русский человек, интеллигент, должен поверить в русский народ, поверить, что источник живой истины сокрыт в глубинах его души. Он должен прийти к народу и помочь ему окультурить и очистить этот источник, сделать его доступным для всех жаждущих. В этой духовной синергии и состоит главный смысл *русской идеи* Достоевского.

\* \* \*

Последний роман *великого пятикнижия* повторил судьбу «Идиота» – один текст включил в себя два романа. Но теперь писатель сделал это осознанно, придав каждому роману полноценную *внешнюю* и *внутреннюю идею* и соединив их достоверной сюжетной связью.

В первый роман входят первая, вторая и третья части «Братьев...» и первая и вторая главы эпилога. *Центральным героем* романа является Фёдор Павлович Карамазов, а *главным героем* – его сын Алексей. Форму *внешней идеи* романа образует сюжет убийства Фёдора Павловича и связанный с ним «любовный» сюжет, а её содержание – апостасийные линии персонажей первого круга. Форму *внутренней идеи* романа создают *сотериологические* и эсхатологические линии персонажей первого круга, а её содержание – символически выраженные ими различные варианты исторической судьбы России – *русской идеи*.

Второй роман образует четвёртая часть «Братьев...» и третья глава эпилога. *Центральным героем* романа является Илюша Снегирёв, а его *главным героем* – Николай Красоткин. Форму *внешней идеи* этого романа образует конфликт между детьми, а её содержание – разрешение конфликта вмешательством Алексея Карамазова. Форму *внутренней идеи* романа создаёт мотив появления в русском обществе «новых» людей, объединяющихся в братские духовные союзы. Содержание *внутренней идеи* выражает евангельский образ умирающего и воскресающего зерна, отражающий одну из важнейших идей творчества писателя – идею о необходимости укрепления межсословной и межпоколенчатой духовной преемственности для сохранения и развития главного онтологического смысла жизни народа – его *национальной идеи*.

Для решения стоящих перед нами задач считаем целесообразным рассматривать эти два романа в их современном виде – как единый текст, озаглавленный «Братья Карамазовы». Образный уровень *русской идеи* в романе составляют персонажи, исповедующие православию или выражающие патриотизм: иеромонахи Зосима и Паисий, Алексей и Дмитрий

Карамазовы, Грушенька, Николай Красоткин. Теоретический уровень *русской идеи* включает поучения старца Зосимы и фрагменты Священного Писания. Образный уровень *западной идеи* составляют Великий инквизитор, Фёдор Павлович и Иван Карамазовы, Смердяков, Ракин, поляки. Теоретический уровень *западной идеи* образуют «поэмы» Ивана Карамазова «Легенда о Великом инквизиторе» и «Геологический переворот», а также рассуждения Фёдора Павловича и Смердякова о России и Боге.